

[НОВАЯ ПОЭЗИЯ]



[новая поэзия]

Сергей Соловьев

**Её имена**

Новое литературное обозрение

Москва

2016

УДК 821.161.1.09  
ББК 83.3(2Рос=Рус)6  
???

### Соловьев Сергей

С?? Её имена / вступ. ст. Станислава Львовского. М.: Новое литературное обозрение, 2016 г., 249 с.

ISBN 5-4448-01&&-&

Сергей Соловьев (р. 1959) — автор пятнадцати книг, среди которых: «Пир» (1993), «Книга» (2000), «Аморт» (2005), «В стороне» (2010), «Адамов мост» (2013). Лауреат премии «Планета поэта» (2012), финалист Премии Андрея Белого (2013). Творческую манеру Сергея Соловьева нередко относят к метареалистическому направлению (А. Парщиков, А. Драгомощенко, И. Жданов). По признанию самого автора, полем притяжения для него все больше становится не литература и — шире — искусство, а «поэтика», существование живой материи, сближение с «нечеловеческим», опыт разутверждения на границах «я». Книгу «Её имена» составили новые тексты 2013—2015 годов. Живет в Мюнхене.

УДК 821.161.1.09  
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

© С. Соловьев, 2016  
© С. Львовский, предисловие, 2016  
© С. Соловьев, фотография, 2016  
© Оформление. ООО «Новое  
литературное обозрение», 2016

## Окончательная незавершённость как надежда и обещание

Работа Сергея Соловьева в современной русской поэзии происходит не то чтобы очень заметно. Его, разумеется, называют всякий раз, как речь заходит о «метареализме». Термин этот, придуманный уже, между прочим, тридцать два года назад, принадлежит, как известно, Михаилу Эпштейну. По идее он должен обозначать некоторое свойство поэтики (или поэтической оптики), которое объединяет нескольких авторов, на деле очень разных. Собственно, предыдущая книга нашего автора вышла пять лет назад (впрочем, нет, опубликована между ними ещё одна, но смешанного содержания — и в Киеве). А два года назад был опубликован opus magnum Соловьева, «Адамов Мост», будто бы роман, но совсем, к счастью, не похожий на то, что при слове «роман» представляется почти всякому нынешнему читателю по-русски. Речь у нас, вроде бы, о стихах, но роман этот важен, в том числе и для понимания — нет, не стихов, а того, кто их пишет. Тому, кто после «А.М.» возьмется читать прозу, опубликованную — за сколько, пять? семь? — лет до романа, придётся, с довольно большой вероятностью, иметь дело с мыслью о том, что если не большая, то изрядная часть этого «до» — не что иное, как тщательно и в открытую зафиксированное усилие приближения к пятисотстраничному тому «А.М.». На этом месте становится яснее и про роман — что он представляет собой не раз навсегда написанную писателем (а потом прочитанную читателем) книгу. Нет, мы имеем дело с *ещё одним* вариантом, только по видимости окончательным, а на самом деле, кажется, (почти) ничего не исключающим: становление длится до тех пор, пока изменение — здесь.

Для понимания поэтической практики Сергея Соловьёва это соображение важно. В давнем эссе «Поле риска и изыска» он пишет о необходимости напряжением поля письма «удерживать открытыми все возможности» — то есть как раз о необходимости не становиться, об отказе от окончательности. «Её имена», книга, которую вы держите в руках, и похожа и не похожа на то, что представляется многим из нас, когда мы слышим слова «поэтический сборник». У нее не то чтобы нет чётких границ, — но они подвижны и, по крайней мере, наполовину прозрачны: в эту книгу легко зайти, — но там, внутри, читателя поджидает такой неожиданный (особенно посреди сегодняшней русской жизни) мир, что в него оказывается легко включиться, как в разговор понятных, близких тебе собеседников, — и вот, ты уже слушаешь и даже как будто говоришь. Всё проясняется быстро — и о чём рассказывают, и что было в предыдущих сериях, и о чём ещё хочется говорить. На самом деле, ты не совсем говоришь, это всё-таки то ли слышимый тебе полилог, то ли тебе одному предназначенный солилоквиум, которому ты отвечаешь. «Тебе одному» — тоже неправда, это всё-таки ты читаешь книгу, и не исключено, что в тот же момент её читает и кто-то ещё. Поэтическая ситуация Соловьёва точно так же не заперта, дверь в неё распахнута: кажется, это приглашение; кажется, это значит — «входи». Но легко будет не всегда, ничего такого «Её имена» никому не обещали. Стихи Соловьёва могут быть тёмными, он склонен вполне сознательно обманывать ожидания. Есть в этой книге и тексты, в которых стремление ускользнуть от инерции собственного письма (но и от инерции восприятия воображаемой фигурой читателя) приобретает почти обсессивную форму. В некоторых из них каждая строчка чуть не с момента рождения уже подлежит перелому: иначе она может срastись не так, слишком правильно. Но сильнее желания выйти вон из пространства своих и чужих ожиданий в этой книге — желание покинуть язык (его дом) — очень сильное, ощущающееся на уровне органолептики слов (всё-таки слов). Правда, многие тексты при этом — повествовательны в самом буквальном, простом смысле, То есть они рассказывают истории, иногда даже с разговорами. Другие, — более многочисленные — запутывают истории первых. В этом,

видимо, и состоит единственный — или не единственный, но по-настоящему важный организующий принцип: цельность, будучи ещё одной окончательностью, — недопустима. Непремено должно остаться «что-то сквозное», та самая трещина в каждой вещи, через которую к нам сюда, как известно, и проникает свет.

Современная поэзия по умолчанию предполагает разомкнутость для интерпретаций — но Соловьёв предпринимает специальное усилие постоянного встряхивания читателя, погружающегося, чуть что, в полусон, в автоматизированное скольжение по поверхности текста. Книга от этого выглядит эклектичной — а в свете предыдущего разговора о её как бы не окончательном состоянии, обходящемся без привычной драматургии нарастания нарастаний и кульминаций, — в каком-то смысле даже и хаотичной. На ту же картину работает постоянная смена локусов от одного текста к другому. Диапазон — примерно от Мюнхена и московских спальных районов до каких-то индийских деревень, о которых я даже не могу быть уверен, что они существуют. Здесь тело привычно оборачивается языком, а язык — телом. Здесь двое живут «без конца и начала, / как стихотворный фрагмент», а женщина «с маленькими предложениями вместо ладоней» проступает из переписки. Здесь ни у чего нет раз навсегда определённых размеров, здесь ничего никогда не приобретает окончательных очертаний. Но «Её имена» — книга не о метаморфозах, тела в ней не превращаются в формы, — потому что одно из другого и так и так отличить невозможно, если «она легла в тебе и глядит со дна, / и как небо разводит тебя руками», если «Оглянешься — и годы разбегаются, как зайцы. / А отвернешься — хрусткую капустку / в следах — жуют тебя, жуют. А тот, казанский / сирота, все выпадает из себя — с любовью». Поэтический мир этой книги — мир не превращений, для которых как раз формы необходимы, — но мир бесконечного перетекания, где все срastается, разрастается, сплавляется, расстаеться.

*Странно, ты говоришь, почему –  
если всё для него возможно –  
не создал он такое несущество,*

*как мы, например,  
надели он нас безграничной  
свободю превращений?  
Но и что-то сквозное  
должно оставаться.*

Это говорится оттуда, где не существует этого странного шевелящегося вещества, которое в каждой вещи, в каждом случайном ракурсе, в начале строки — и опознание всякий раз отнимает силы, так что сквозного теперь не удержать, — или это всегда было невозможно, поди теперь разбери. В «Её именах» происходит постоянное взаимопроникновение и скольжение слов и тех, кто их говорит (или не говорит). Они пересекают друг друга, выглядывают из себя, множатся, вылетают, вбегают, входят, выскальзывают, спят в позе Мёбиуса — но переходы эти осуществляются без щелчка, без усилия, без ущерба. Декларированное внимание к осязаемому, к осязанию, к материальности тел и вещей становится понятнее. Осязание, если вообще ещё не покинуло этот протеический космос, — то покинет, и скоро, может быть, не успев даже внести себя в его Красную книгу. «Её имена» — это книга, в которой утопия тотальной трансгрессии, окончательной и необратимой, вдруг *становится*. И это последнее, что *становится*, — все остальное теперь — «этот ангельский свет, разлетающийся пичужками /любви, языка, смерти». Это книга, не принимающая окончательность формы, — а может, и вообще окончательность. Ни восстановления, ни воссоединения может никогда не случиться, — но следует сохранить возможность, точнее, даже «удерживать открытыми все возможности». Напряжением поля письма — тоже почти неосязаемого, но, несмотря на это, каким-то образом всё же действенного.

*Станислав Львовский*

## Человек и другое. Опыты переходов

Гераклит говорит Витгенштейну в ответ на его «всё, что может быть сказано, может быть сказано ясно»: не говорить и не утаивать, а знаменовать.

А индус-водитель на гималайском серпантине, уводя полмашины в пропасть, оборачивается ко мне через плечо: одна нога должна быть всегда на весу. В мысли, в действии, в жизни. И, возвращая дорогу под колеса, добавляет: и в смерти. И в любви? — спрашиваю. И в Боге? — Да, говорит, и в счастье. И, сплевывая кровавый бетель в окно, закладывает следующий вираж.

То, о чем мне единственно хотелось бы говорить по настоящему, то есть молчать, удерживает обе ноги на весу и вряд ли может быть сказано ясно, но и «знаменовать» тут звучит довольно обязывающе. И нелепо. Да и кто я, чтоб становиться в эту позу.

Потому я начну по краям, с вот такой, например, реплики.

Я давно пытаюсь додумать одну мысль, и не могу, она размазывает меня по внутреннему лабиринту. К тому ж она из тех, которые не обсуждают с людьми, опирающимися на культуру (религию и пр. социальные практики), она ими естественно отторгаема. А по другую сторону — мир живых изначальных энергий, природы, не книжной, а реальной, с которой очень немногие из людей имеют дело, вступая в действительный опыт взаимосвязи. И эти, последние, как правило, молчат. А первые говорят. Гении. Порой не выходившие за пределы своей улицы и вряд ли способные развести костер, например, так, чтобы

он дышал, чтобы меж деревом, рукой, воздухом и огнем жил внимательный разговор энергий, а не одностороннее нерадивое вероломство. И вот я думаю, как же такой человек, с точки зрения мира — инвалид, вмурованный в гетто своих «гуманистических» очертаний, говорит о «другом», не имея никакого опыта, кроме книжного и умозрительного, об этом «другом», создает гениальные произведения? Действительно создает. В которых есть эта живая настоящая энергия, ее космос. Или нет? При почти полном разрыве с миром этих энергий. Настолько, что любой муравей за голову бы схватился, глядя, как такой человек входит в воду, трогает землю, дышит...

Нет у меня ответа на это. И потом, кто эти люди, определяющие, есть ли там эта энергия? И откуда они судят, из какой местности восприятия, опыта? И есть ли такие среди них, кто способен быть и там, и там, по обе стороны? Это же почти невозможно — оно ведь на разрыв в человеке, когда в полноте того и другого, а не в компромиссе.

Речь ведь не о мирном сожигательстве кошки с собакой, не «городе» и «деревне», не о *замысленном побеге*, не об уединении. Как догадался Тютчев: «не то, что мните вы, природа».

В предельном же и разверстом виде эти миры — культуры и природы — не могут сосуществовать в одновременном и равноправном режиме, разная у них гравитация, оптика, пластика, навыки поведения, вообще всё. Один другому тут должен уступать, но не целиком, а особым образом, и здесь-то, в этих перегруппировывающихся потоках энергий начинается самое трудное и мало предсказуемое. Притом что каждый из этих миров требует отданности «до полной гибели», иначе разговор теряет глубину.

В хадисе 5847 сказано, что на том свете художественные творения будут взвешены, и те из них, которые окажутся мертворожденными или чья энергия уступит энергии живого вещества, будут низвергнуты вместе с их создателями.

Сурово. И актуально, похоже. Но если всерьез (понятно, что этот экзамен не выдержит ни одно, ни один), думаю, в смягченном, щадящем к нашим возможностям виде, это единственно настоящий критерий — отдаленное равнение на «живое вещество». При понимании, на какой буквально чудо-

вищной скорости превращений оно существует и чем оплачено в каждой своей точке. Этой непреложной готовностью ответить жизнью за каждую мельчайшую единицу, будь то слово, жест, звук, свет. Вот этого, кажется, как-то поубавилось в искусстве (и жизни) последнего времени. По умолчанию. Не симптоматично ли, что в новой поэзии, например, как-то продвинулись, заняв активные позиции, прилагательные? Не из сильных позиций речи. Особенно в сочетании с непрожитыми сущестительными.

Ладно, отойдем в сторону, чтоб вернуться. Или, как сказал, один мудрец: повременим, чтобы скорее кончить.

Какие жизненные сюжеты возможны для Одиссея после возвращения на Итаку? Два тривиальных. Славно стариться в кругу семьи и отправиться в новое путешествие, тавтологичное, с большой вероятностью уступающее первому, втягиваемое в поле гравитации прошлого. И третий: разрыв с семьей, уединенье на отдаленном острове, слепота, слепые письма единственному адресату и собеседнику — странствию. Ему и сквозь него — ей, Пенелопе, которую он ткет и распускает, как странствие. Одиссей, ослепший, на берегу, ставший Гомером, и потому возвращающийся Одиссеем.

Чуть утрируя, я бы сказал, что литература и путешествие — вещи несовместные. Что настоящее путешествие — катастрофа. Но — светлая, если повезет. Что опыт это неизреченный, что свое «я» вместе с даром речи нужно оставлять у порога путешествия, иначе ты просто перевозишь по миру чемоданы себя с набитым словами ртом. Что отправляешься в путешествие никогда не «зачем» и «почему». О том, что никакие концы с концами не сходятся. О Мелвилле, у которого вначале путешествие, потом литература, и о Рембо — у которого наоборот. И о Гончарове, который совместил две крайние точки: покоя — в Обломове, и кругосветки — в «Палладе». О Генри Миллере, сказавшем, что вернется на родину, лишь когда дух его отлетит. О том, что в путешествие не отправляются, с ним рождаются — немногие, и еще реже — им становятся. И о том, что из настоящих путешествий не возвращаются.

И вот здесь я бы вернулся к «другому». К той легкости, с которой вослед новым французским философам об этом гово-

рят. Как о чем-то находящемся рядом. Куда можно перейти, как в соседнюю комнату. И это давно уже стало нормой продвинутости в творческих практиках. Письменных в частности. Особенно на пару с отчуждением от (лирического) я, эго, и вообще интереса к собственной био как полям усталым, исчерпанным. Сильный ход. С одной поправкой. Если всё это всерьез, если переход этот проходит под знаком сметения твоего «я», всего, кем ты себя знал, мнил, помнил. И помимо чуткости, опыта, расположенности двигаться в этом направлении и предельного риска, это еще и колоссальный ежедневный труд. И выживших на этом пути — единицы. Иначе — демагогия, профанация, в лучшем случае — игра.

Неизъяснимый труд разотождествления, крайне одинокий на пути к родству. Или это дается как благодать. Но об этом мне трудно судить. С первым же, на каких-то начальных шагах, да, мне кажется, я знаком. Но приходит это с осенью опыта, вряд ли раньше.

Я странствовал с детства. (Как говорил Пржевальский: путешественником не становятся, им надо родиться. И он же: у путешествия нет памяти.) Перекинув за спину связанные сандалии и уходя из детского сада куда глаза глядели. И потом в юности — по тайге, по пустыне, по Заполярью, один. И потом — переплывая море на детской надувной лодке, на которую установил стальную мачту с веселым парусом, унесенным первым же порывом штормового ветра, и затем в течение нескольких дней находясь то под, то над волнами. И все это было чудесно, но в немалой мере во всем этом было свойственное возрасту самоутверждение. Опыт *разутверждения* приходит потом. На границах «я», на границах сред.

Я помню одно из самых больших своих поражений на этом пути. Вторая из трех частей романа «Адамов мост» называется «Чандра» — по имени тигрицы, от которой и ведется повествование; происходящее дано ее глазами. К началу работы над этой повестью я знал, что задача невыполнима. В принципе невыполнима. Нет и не было в литературе перехода в это «другое». Все, что мы считаем лучшим на этом пути, — лишь подступы, остающиеся в пределах антропоморфного взгляда, и в этом смысле почти никакого отношения к миру животных

и природы не имеющее. Но мне самонадеянно казалось, что весь мой опыт, и особенно последних лет, проведенных в джунглях, дает мне шансы на эту попытку. Реальные встречи с тиграми — вплотную, когда он ревет в лицо так, что ты чувствуешь всю морозную ветку своего хребта, где ему ничего не стоит лапой смахнуть с тебя жизнь, и в этом положении вы находитесь около часа... Пять лет изучения, вхождения в эту шкуру, не говоря о чувстве леса и его энергий к тому времени, казалось... Полное поражение. Не выйти из человека. В слове — не выйти.

Есть у индусов такая формула всего живого в мироздании, его основной принцип: Тат твам Аси. Ты есть То. То есть ты — не ты, а вон та ветка дерева, но и она — не она, а вон то облако, но и оно... и так до бесконечности, пока в этой круговой поруке вселенского родства не вернет тебе тебя, но уже как всю вселенную: Атман — Брахман. И есть майя, иллюзия мира, как говорят индусы: головная боль без головы.

Тот индус, балансировавший над пропастью, сплевывая в нее кровавый бетель, говорил: «я», «народ», «родина» и тому подобное — как голые провода под током, и человек висит на них, вцепившись побелевшими пальцами, трясет его, синее, как герой. Сплевывает и смеется. Нет пальцев, нет проводов, нет «я». И, помолчав, посерьезнев: есть. Но чем мягче и подвижней его очертания, тем лучше. Для всех. Для переходов. Там твам Аси. И ахимса. А человек он кто? Ману. Сын Солнца, брат смерти.

И я думаю об этих очертаниях «я» в разных культурах, на Западе и Востоке. И вспоминаю, как тем же индусам мусульмане насильно впихивали в рот куски говядины, и те безропотно тем самым переходили в ислам. И это длилось веками. А потом пришли христиане и за теплую вещичку и башмаки обращали Бхагавана в Джона. Где индуизм, где язык, где культура, где нация, где народ? Где-то там — за и под. А потом, восемь веков спустя, страна встает — молода, нерастрачена. И понятия не имеет, что такое депрессия, например. Нет такого, вообще. Ляжет индус посреди дороги и спит. И машины, непрерывно сигнала, его объезжают, и коровы его обходят. Спит с улыбкой, а во сне не обманешь.

Я понимаю, что не все так просто и безоблачно. Но и это ведь никуда не денешь.

И вот я думаю об утопическом, конечно, но кто знает. Сейчас ведь что-то очень важное происходит с человеком и сдвигом всей антропосферы. И если в результате этого хоть отчасти смягчатся очертания его «я», эго, то, может, и легче, лучше будет, как говорил тот индус, для всех. И дело не в религиях, индуизм ведь тоже не религия, а, скорее, мироощущение. Я понимаю, что сейчас об этом говорить рано, особенно на фоне последних событий, ИГИЛа и пр., но, даст бог, этим мир не кончится и впереди еще не один поворот.

Скандхи, говорят, обычно движутся ста восемью способами, образуя устойчивые очертания. Но при переходе из одной формы в другую возникают завихрения и разрывы, образующие переходные формы. Между человеком, например, нюхающим цветок, и самим цветком. Или между голосом и слухом. Или когда тело кладут в огонь и душа начинает блуждать, переходя с перрона на перрон. И поезд придет, когда на роду написано. Как явление природы, как дождь, перелет журавлей, как девочка, смывающая у колонки первую кровь.

Убеждения, они хороши, конечно. Как предохранители. И горят, как предохранители. Как и любая система. Как все твердое, говорящее: «я». Не выходит из строя лишь невидимое, не сплоченное в очертанья. Передоверяющее себя другому.

Хайдеггер говорил, что мы должны избыть до конца эпоху техники (в широком смысле — как технэ), и лишь тогда, может быть, выйти к просвету бытия. А зачем ее избыть? Завершить гештальт? Может быть. Но хочется думать, что это не единственный путь. Слишком уж он широкий. И фаталистический. Кроме того, есть и частные пути, личные. Как и индия у каждого своя — у тех, у кого она есть. Не страна. И вообще это может не быть связано с географией.

Моя индия (и Индия) возникла, думаю, задолго до того, как я в ней оказался географически. И весь мой дальнейший опыт в ней был в очень малой степени связан с тем, ради чего обычно туда отправляются. Это не ашрамы, не всяческие «лестницы просветления», не культура и «достопримечательности», не города и уж тем более не Гоа. Это опыт джунглей, особая тантра, если уж говорить на языке практик. Хотя тут никакой практики, кроме собственной жизни, которую ты целиком кладешь на



этот путь, и лишь тогда лес, может быть, со временем, начинает отвечать тебе той же мерой открытости.

Я помню, как где-то к исходу первых месяцев в джунглях начал чувствовать что называется кожей энергетическую карту леса — где просвет, где затемнение, опасность. Понемногу, постепенно. И эту неизъяснимую тревожную радость, в чем-то даже нечеловеческую, связи с «другим», когда лес тебя начинает признавать и незаметно держит, как на плаву, на ладони. И меньше всего, о чем ты думаешь, — о письме. Это перестает быть существенным. Придет потом, если придет. Ты весь здесь, сейчас, в этих, как говорил Лейбниц, «незаметных переходах» из одного в другое, в круговороте энергий живого вещества. И не дышишь в затылок будущего. Спокойно зная, что, входя в лес на рассвете, шансов вернуться у тебя — 50 на 50. Но иначе шансов войти в это по-настоящему нет совсем.

Примерно это же происходит и у входа в книгу. Или жизнь. С очень взрослой, как лишь у детей, надеждой. И непредсказуемой дорогой.

Текст этот написан перед самым отъездом в мою пятую Индию. Из которой я только что вернулся. Пусть он будет здесь как своего рода предисловие. И послесловие.

## I

*Не жизнь, а что-то-то рядом*

...

Поправь меня, если я подзабыл,  
но, кажется, нет никакой мотивации  
для сотворения мира.

Чего ради?

Вот смотри: уже дух над водами.

А зачем?

Или Хаос вначале, метаморфозы.

Или Слово, его развертывание.

Или у гностиков — Эпинойя,  
нисхождение света.

Или вот у индугов:

вначале был Ся (Самость),

и решил он создать территории.

Точка. Никакой мотивации.

Описание процесса.

Но вот любопытное. Всё создав,  
он задается вопросом: «Может ли  
существовать оно без меня?»

И отвечает: «Может. Но без меня».

И дальше: «Как же войти мне?»

Темя вскрывает и входит в творенье  
через «Воротца радости»,

и изумлен: кроме него там  
нет никого. Так и зовут его: Тот,  
который видит.

Но опять же — неясно

с мотивацией. А пока ты гадаешь,  
как мне ответить, да и вообще —  
отвечать ли, поскольку

ты существуешь, и ты без меня,  
и Воротца без нас, но открыты,

я скажу тебе вот что: не сразу  
у него получилось. «Не то!», —

говорило ему сотворенное им,  
и он переделывал, слушал, пока  
оно не ответило: «Да,  
вот теперь хорошо!». Да?  
Ты слышишь? Уже не войти.

...

В той мавке хвойной, где свой подвиг Павка...  
Нет, не так.

Спустя полвека, как не строил он узкоколейку...  
Да. Я оказался в сумрачном лесу. В Боярке  
(на втором, но правильно — на первом). Книга  
о том, как строил он, стояла между Аэлитой  
и Фенимором Купером, двухтомником. Вороны  
порой из гнезд вышвыривают цапель. Детей,  
пока родители в отлете. И те с верхушек падают,  
как дети. Но с крыльями бумажными. Я шел,  
а он свалился на меня. Подросток. Девочка,  
наверно. Как рукопись она летела, я не видел,  
сыпалась меж веток. Взял. Потом мы у костра  
сидели. Я имя подбирал. Иеронимка? Глаз  
в кровавых отблесках, в огне, и чуткий клюв  
полуоткрыт, поцокивает. Шея — растет, растет  
над нею, надо мной, над лесом... Модильянка?  
Принес домой. Во вторник. Вторником назвал.  
А я был человеком, Четвергом. Четверг ее,  
природы, обитанья. Жила она под небом,  
на балконе. Балконская Цаца (здесь на втором).  
Кормил ее я мойвой (в гастрономе — 30 коп/кг),  
а на рассвете она будила всю округу, запрокинув  
голову, разинув клюв, приветствуя светило,  
треща на весь микрорайон, как самопальный  
харлей дэвидсон. А если удавалось днем  
ей в комнату пробраться — клевала отраженья  
свои в румынской мебели: приглядывалась к ним,  
играя шеей, замирала, и точно лупила.  
Следы, как от шрапнели. Еще был пес — Кальмар,  
походный русский спаниель. Мать выдворяла  
цаплю — тряпкой: Аустерлиц домашний, бились  
внимательно, переходя на танец, пес — в тылу,

за юбкой маминой, а тряпка — в клюве сжатом у Вторника, у девочки. А я — с авоськой мойвы в дверях. Вообще же, мама реставрировала церкви, а отчим был геологом, возил мне из пустыни земную оторопь, песчаных гадов голубых кровей, Шахерезада замок снов плела. Отец, детдомовец, под окнами свистел в два пальца, мы втроем — он, я и мама — шли гулять по улице Петра, который Запорожец, Ильича соратник. Вторник вышагивал за нами, чуть волоча крыло. Под домом был детский сад, за садом — лес, оттуда лисы в сад ходили, а я в окно смотрел. Мой дед чаевничал в Калуге с Циолковским, потом ушел сапером на войну, вернулся из Берлина с перочинным ножиком, карандашами и отрезом крепдешина для дочки и жены, и сорок лет не спал, был юн и лыс, молчал, а жил на Банковой, неподалеку от Майдана. Повторно овдовев, он переехал к нам. Был на углу Перова и Петра сбит автокраном — их колонна шла из Чернобыля. Лежал с улыбкой в морге. На том же месте год спустя был пес раздавлен, я в рюкзаке его отнес в тот мавкин лес, где мы сидели со Вторником, и под кострищем закопал. Квартира продана, и сад уже не детский. Путь зарос. Отец лежит в могиле — в том краю, откуда дед привез карандаши. Я в Индии, в лесу, на середине, на спине слона, под ним земля, как черепаха, под нею тьма. Со мною та, которая, прижавшись, дрожит и зябнет от счастья, в пыльце словесной, с небылицей в руке и даром божьим, как иголкой в сердце. За тридевять морей окно горит — там мама Набокова читает, ждет. И ночь роняет звезды из гнезд. И Вторник все летит, летит — как день второй.

...

У каждого свой лес. Особенно дойдя до середины сумрака. У Кафки — тот, где он сказал: сомнительно родство с людьми. Биологическое разве что. Мне кажется, в моем лесу и этот вздох уж выдохнут. Как и другой, другого: живя в аду, не жалуются. Нет здесь ни ада, ни родства, ни жалоб. Помнишь, друг в друга по утрам мы вглядывались: «кто ты?», и смущена улыбка. «Где мы живем с тобой?» — ты спрашивала так, что было счастье нам хотя бы оттого что было откуда спрашивать. В одном, скажи, из тех миров возможных. Как по-детски, беспечно и светло и страшно это сочетание слов. Они сочлись. И некого спросить — ни кто, ни где. Песок, шалашик слов и ветер — вот и весь возможный мир, и тем роднее он, чем в нем однее. Рай. Ну да, животных много. Общественных, переходящих в жертвенных. Поговори со мною. Больше не с кем, тут собеседника молчанью нет. Одна отрада — мертвые и не рожденные еще. Вот весь огонь в камине. Знаешь, лег вчера, свет выключил, не сплю, и вдруг — не чувство, не мерещится, а так и есть — мое лицо исчезло. Но не маска и не зиянье там, а призрачной пылью — лицо отца. Мое. С того давно уж света. О было бы оно развернуто ко мне! Но нет. Простил? Не знал, что думать, не решаясь его рукой потрогать. Не дыша, уткнувшись в лицо его. Как блудный сын — в ладони.

...

Когда исчезнет «я» и станется причудой,  
как домик на Луне или язык,  
(а был ты для него лишь куклой вуду  
и колышком ходил вокруг козы),  
когда исчезнет «я» как недоты-  
комка, комком переглотнется...  
И память, выйдя вон, из немоты  
летит в лицо, как пыль, и огибает.

...

В тюремном дворике души  
гуляет разум.  
Дыши-дыши,  
не надышишься.

Ах как она застенчива, душа-  
застеночек.  
Бежать-бежать,  
да не набегаешься.

А обернешься — ни добра, ни зла,  
ни дворика.  
Ах весна-весна,  
руки за спину.

...

Живу я в Мюнхене на Изарек штрассе.  
Изар — местная речка, эк — угол,  
но реки тут, кажется, отродясь не было.  
Улица тихая. Липы, акации, бульжная мостовая.  
Дома невысокие, разноцветные.  
Этаж у меня нулевой,  
выходящий во внутренний дворик с садом.  
Птицы, белки, куница. И коты.

Слева — живет Герта,  
медсестра, рукопашной комплекции.  
Отец ее был в гитлер-югенд,  
в первый же бой вышел навстречу врагу  
с поднятыми руками.  
У Герты — сын от неизвестного мужа  
и два любовника — оба Вольфганги.  
Ходят к ней в будни попеременно,  
а по праздникам — вдвоем, в обнимку.  
Первый Вольфганг,  
жизнерадостно худенький,  
который без одного лёгкого,  
помогал мне с выставками, возил картины,  
вместе развешивали.  
Потом он кнайпу открыл неподалеку —  
маленький пивнячок,  
и без следа растворился в нем.  
А второй еще раньше исчез.  
Тем временем сын Герты,  
карапуз Кристиан,  
вымахал в двухметрового светлокудрого увальня  
и женился на маленькой невзрачной польке,  
родившей ему двоих,  
которых они поделили,

когда она его, образцового мужа и трепетного отца,  
бросила.

Справа живет седовласая хризантема,  
под девяносто ей, немка, фамилия — Пятерик.  
Семья ее погибла в аварии.  
Больше у нее никого нет.  
Мы ходим под ручку с ней до аптеки.  
Со скоростью улитки.  
После каждого шага, она шепчет: данкешён.  
Ночами ее тревожат призраки,  
она указывает пальцем на розетки в стене:  
оттуда.  
Раз в неделю я перекладываю ей матрас —  
голова-ноги.  
Угощает конфетой.  
К ней ходит на дом парикмахер,  
омолаживает ее  
до трогательной мужеподобности.  
Ест она, как и подобает цветку.  
И клонится к заходу солнца.

А на моем кожаном диване, на веранде,  
лежит Андреа,  
девственница,  
даром что только с виду.  
За тридцать ей,  
длинноногая, истерично одатливая.  
Тоненько так поет, сохнет.  
Говорит:  
будем жить с тобой счастливо,  
эротично-интеллектуально,  
и вся дрожит,  
покрываясь пятнами,  
как карта контурная.

Я, говорит, открою маленькое издательство,  
а у тебя, наконец, будет страховка медицинская.  
И сворачивается калачиком под небом,  
зябнет,  
а с рассветом идет домой.

Выше этажом живет Урсула.  
Девятимесячной,  
еще до Октябрьской революции,  
она была вывезена из Питера.  
Первым мужем ее был немецкий композитор.  
Погиб в расцвете.  
Вторым — австрийский барон,  
оставившей ей большое наследство и замок.  
Третьим — жиголо, итальянец, всё промотал и исчез.  
Сын ее от первого брака в юности покончил с собой.  
Я навещаю ее, помогаю по мелочам.  
Как-то чинил у нее телефон,  
вроде наладил, и говорю:  
надо бы позвонить кому-нибудь, проверить.  
И вот она долго листает ветхую записную,  
испещренную меленьким почерком.  
Этот, говорит, умер давно,  
эта тоже,  
и тот,  
и на эту — последнюю букву — уж нет никого.  
Alle tot, говорит, все умерли, все!  
И смеется —  
так по-детски, до слез,  
но беззвучно,  
и остановиться не может...  
Верней, не могла.

...

В степи под Богодуховом был мясокомбинат,  
там жил козел, он вел в последний путь коров  
по желобу — к электрошоку, и возвращался,  
звали Федя, янтарные глаза, борода, медиум.  
Еще блуждающий был поезд «Комсомолец  
Украины», он замирал в степи, агитбригада пела  
и плясала в разделочном цеху для персонала,  
и стихи произносила. Там женщины работали,  
а из мужчин был Федя. Туши, кровь, стихи,  
аплодисменты... К чему я вспомнил? Упустил.  
Пью кофе на веранде, Мюнхен, меня уж нет,  
лишь степь и Федя. Скажи еще, что в каждом,  
особенно под Богодуховом. И под Любвинском.  
Ведет, а мы поем и пляшем. Скажи еще, что ум  
ведет с янтарными глазами, а они, коровки чувств,  
под резаком доверчиво... Но кто ж поет и пляшет?  
Как мы. Тут что-то недодумано. И женщины идут  
с работы. И степь, как кровь, тепла. Тут что-то  
недодумано. И бог, и дух, и смрад, и мы с тобой,  
и эти тусклые янтарные глаза.

...

И стоят они счастливые — взрослые и дети,  
и расчесывают их парикмахеры-ухажеры,  
кому — СПА, а кому — легонький петинг  
ботанический, не ведущий к растрепанию,  
пока пяточки-хтоники темные пьют узоры  
из земли, голова на свету, сердце в зелени,  
так стоят они в своем месмерическом счастье,  
в этой нежно идиотичной красе, что спасает –  
вопреки всем благим твоим — от соучастия,  
просто смотришь, как стоят они, наглотавшись  
иглоком воздуха... Но хочется чего-то простого.  
Девушка с лицом чау-чау: пойдём развеемся,  
говорит. Хорошо, что лишь взглядом, в сторону.  
А в другой — церковь и озерцо, два селезня:  
Людвиг Баварский с Вагнером. Да, погожий  
денек, из тех, когда Ницше сошел с ума,  
увидев как в нем туринскую избивают лошадь.  
В общем, стоят счастливые, выгуливаю слова,  
и они повторяют за мной: любил бы лето я,  
когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.  
А к ночи Альпы вдали потряхивает скелетами,  
как в шкафу. Страна Германия, город Мюнхен.

...

Смерть, говорят, — момент истины,  
мгновенье, когда видно во все концы.  
Вряд ли, думаю, даже для кисти  
рябины или руки, не говоря о целом.

Хорошо, если вообще что-нибудь видим,  
кроме перекошенного во все концы  
здесь и теперь, да и то — в хламиде  
нашего восприятия, уходящего, со спины.

Да и что там меж нами, кроме случайного  
я, подвернувшегося под смерть?  
Призрачная хламидка пожмет плечами,  
обернувшись: а нет никого.

Да и кто там был, с чьей ушел он  
не своею жизнью во все концы?  
Опустевшие «я», как в гареме жёны  
перешептываются...



...

Вот что я бы хотел: жизнь посвятить нильгау — голубой антилопе.  
 Переселиться в Индию, вставать затемно и уходить в джунгли,  
 читать следы, ждать у затоки в зарослях, пока проступают тропы,  
 деревья в косичках света, и солнце, сбоку дующее, как в угли,  
 в кромку леса.  
 И вот он выходит — неизъяснимый, голый,  
 будто призрачное стекло, темно-синее, выдуваемое землей,  
 и поворачивает к тебе свою маленькую недоуменную голову из дальней дали, из дней творенья, и с неба вниз голубой рекой струится шея и в лес впадает, где замок тела плывет высокий, дрожа на легких, как свет, ногах.  
 Я б жил в деревне, в семье индусов, немного риса, немного сабджи и чашка кофе. А он в осоке стоял, единорог, и думал:  
 уж полдень, странно, где ж этот тузик, который пишет мои дни, как Джойс Улисса.  
 А я бы домик построил в кроне, шалаш с обзором, с трубой подзорной, и там дневал, и там дневалил,  
 а что мне надо — вода и кофе, еды котомка и третий глаз мой — походный лумик FZ двухсотый, да нож татарский пятидюймовый, в чехле.  
 Презренье к оружию огнестрельному — на знамени у Лермонтова было.  
 Пойдем мы дальше — презрение к любому виду, кроме зренья и пятерых сокольников...  
 Нет, все же лучше маленькая вилла в викторианском духе,

я не против с индусами делить сансару,  
 но лучше одному, и в шляпе, и в шезлонге,  
 под сенью, и с газоном — пусть маленьким, но уж английским, и служанка, или пара —  
 ну например, Бхагилакшми и просто Гита — лакомка и соня...  
 А что? Немного сибаритства не претит в часы сиесты, а в остальном — труды и дни в лесу. А нож — для хлеба, огня, тропы и писем, не ждать которых, да, и вместо зеркала.  
 Ну что ж, все это я прошел, и сердцу было лепо, и телу, и уму. Так отчего ж не довести гештальт отрады до светозарности, и встретить старость там, с единорогом, в махабхарате леса, в эпосе страниц, в раю, номадом волшебных звуков, чувств и дум?  
 А он стоит и волооко обводит даль и божьими губами шевелит:  
 ну где ж ты, писарь, за нумизматикой, небось?  
 Евангелие природы пишешь, да?  
 Хотя,  
 пиши, пиши, всё будет — все шары на свете, елки все и лисы, и тигры, и павлины, и слова ...  
 Скажи еще, что водит их дитя.

...

Взгляни в лицо цветка:  
 благословенье и проклятье –  
 в одном. Как смертная тоска  
 и счастье. Не рифмуй,  
 и так всё связано смирительной рубахой  
 родства, как белый свет нательный  
 во тьме и звездный кляп во рту.  
 Зачем ты, камень, мать моя, лежишь в песке,  
 во мне, а небу глаз не проморгать от птиц.  
 Рифмуй — «отец», но про себя. Слезится даль  
 так старчески и близоруко. А близь — как дай  
 вам бог сойти с ума. Никто не изгнан. Но и рай  
 не создан. Сосны? Да, пусть будут, и закат  
 меж ними. И ангелы, как кошки на пожаре,  
 в нем носятся. И в соснах, и в тебе. На этом  
 тут всё и держится, на этих нана каторжанах  
 света — в пыльце, в цепях и песнях, без лица,  
 взгляни...

...

Сиянье дня меня тревожит.  
 Оставь ее, пусть пишет  
 рука: во всём, и среди ночи –  
 сиянье дня. Любовь еще быть может  
 без женщины. Без сына и отца. Без речи.  
 Как мальчики в глазах — сиянье дня.

Пусть пишет. У нее — края, а у меня –  
 ни края, ни того, что держит  
 их. Что держит? Какой-то бог зарыт, и дышит  
 земля. Шевелится и дышит. В сердце.  
 Как заживо. И дух всё режет  
 хрусталик, затуманивает, пишет,  
 где ни руки, ни глаза, ни меня.

Откуда же сиянье? Что тревожит?  
 И почему здесь близость, как культа,  
 перебирает письма? Мир как письма.  
 Так мелко изорвано, не сложит.  
 И, как дитя растленное, где разошлись мы, —  
 сиянье дня.

...

Жизнь отплывает за спину, всё светлей впереди  
и просторнее. Смерть, видать, возьмет налегке.  
Дождь и кошка в окне, спрыгнула в комнату,  
и уже на груди, лапой меня обняла за шею.  
Пришлая. Пришвин ее зову. Дерево в парике,  
поправляет его. Столько сказано и не понято  
ничего. Это странно — такая близость. Шельма  
метит углы ее. Всё разрозненно, но на миг,  
как на снимке на память, выстроилось: улыбки  
несколько принужденные. Или гости съезжались  
на так называемую. Да, топ ами трехцветный?  
Зыбко, но нет ничего устойчивей. Божья шалость.  
Как один, семеро их — вниз головой, в плаценте,  
чуть надорванной. За окошком. И все же странно.  
Так и сиди, пиши — с этой лапой на шее, анной.

...

Этот рассказ будет в рифму и несколько дурковат  
в целях самодисциплины, ну и чтобы не унесло  
чёрт знает куда. Типа связываем рукава  
за спиной — смирительные, как добро и зло.  
В общем, звали ее мадам Гхош.  
Познакомились мы, как в колодец летящее ведро.  
Это когда оказался я до середины вхож  
в Индию, земную жизнь пройдя до дырки  
лучезарной. Где ангелы, как в лужах воробы,  
купались... Нет, не так все было. По порядку.  
Она ребенком в лес пошла. И стала егерицей,  
окончив в Дехрадуне ДепЛесХоз и отпустив бородку  
животных знаний, эпистемку, короче. Не водица  
которая, слегка смешалась в ней с звериной  
и смутилась. Но не надолго. Да, отличницей была  
и женщиной. Что редкость — для егерей в веригах  
домостроя. Смугла. И крепко сбита? Нет, смола,  
скорее, в ней преобладала. Свой род от кшатриев вела.  
Смола, сказал? Ну нет, ботва. Вообще, едва  
поймем мы что в индийской женщине. В мундире  
она была — картофель. Одинокий. Ее распределили  
в пропащий заповедник, в никуда, и на другом  
конце Бхарата. Ни леса там, ни зверя, ни людей.  
Война племен, нет языка, гортанное арго  
и пули. И помощник, из тех которые везде-нигде,  
по имени Творец Вселенной — Брахма, местный,  
с лицом текучим и улыбочиво древесным.  
Да, Брахма нас селил в лесничестве, она потом  
приехала. Я был с собой, вернее, с той,  
которая могла бы, и порой могла. Наш милый дом  
несуществующий звенел меж нами солнечной серьгой  
цыганской. Хозяйство Гхош — полсотни золотых  
лангуров, обезьян из Красной книги,

они сидят на ветках, как авгуры, и следы  
ведут по небу к ним. В коротких шубках, темнолики,  
они сидят, листву перебирая пеплом пальцев,  
стволы деревьев забинтованы под ними,  
их доит племя здешнее, деревья то есть. В танце  
ритуальном подносят кринки. А те сидят, как в нимбах  
меховых, и смотрят вниз, на племя молодое  
незнакомое. А в крайней к лесу хате, триста лет  
пустующей, живет король. Он — Шилорай. Удои  
ему приносят, пол метут, постель перестилают и обед  
готовят. И ждут. Хотя его уж семь веков как нет.  
Да, Шилорай, и имя подходящее. И Гхош мадам  
из спального района навевалась с Брахмой к нам  
в лесничество. Мы их встречали с петухом,  
вернее, супом из. Потом фотографировались. Ом, –  
при каждом снимке Брахма наш икал,  
поскольку мы мадам хотели снять с ружьем,  
по весу равным ей, но совладать никак  
ей с ним не удавалось: то в висок  
направив Брахме, то в меня, то в ногу  
себе. К тому ж она надела поясок  
с патронами. К тому ж волчонок за порогом  
скулил и скреб, и, приоткрыв из кухни дверь,  
врывался. И это не последний зверь,  
который был там на довольствии. Питон,  
израненный мотыгами, хромой павлин  
делил с ним жизнь. Ну в общем, тот еще притон  
любви и боли. И лес лежал, как исполин,  
сожжен, сворочен, срублен. «Красные рога» –  
военная застава за холмом, мертва дорога,  
и простыни висят со списками погибших, но врага  
никто не видит. Неподалеку Манас, носороги  
истреблены, рога растворены в Китае. Манас, разум.  
Он пуст. Мы по ночам включаем Мертвых душ  
и слушаем под сеткою москитной. Спим, как пазл,

прильнув друг другу. А наутро фройляйн Гхош  
к нам приезжает, с нею — Бхубан, вождь  
неведомого племени в подбрюшии Бутана,  
он нас зовет к себе, мы едем, там со ста коров  
для нас собрали тридцать грамм сметаны,  
чтоб встретить подобающе. Совет старейшин  
перед походом в джунгли: два брата-киборга  
и черепаха полуметровая глядят в огонь, понеже  
судьба кроится там, по крайней мере, выборка  
ее. Но тут отдельная история, вернемся к мисс.  
Так вот, вчера, в фб, скольжу по ленте: ба,  
знакомое лицо! И ссылка на газету. Интервью. Она  
теперь Верховный Егерь. Да, в ней вырос лес.  
И рис. И край другой. И Брахмапутра  
течет в ней. И ружье стреляет. Вечер  
обычный мюнхенский, переходящий в утро  
сто лет спустя. И та, с которой был, давно далече.

...

Радость меня гложет.  
Я ж полжизни выкатывался в смехе, как пес в снегу.  
А теперь не знает, что делать со мной, и не может  
от меня отойти, так и говорит: не могу.

И гложет. Но не меня, а что-то рядом.  
Как сахарную косточку. Детство ли, смерть мою.  
Собственно, одно и то же. Что, говорит, не рад ты  
мне? Я тебя, говорит, не узнаю.

И гложет. И вот ведь что, я и сам невольно,  
как соломинку, подсасываю то ли беду  
неузнанную, то ли радость, то ли  
эту светлую тоненькую пустоту.

...

Немочка бродит по Мюнхену и кричит:  
«Франц-Йозеф, Франц-Йозеф!».  
Пришвин лежит на шкафу — женщина  
полицветная, ухом подергивает и молчит,  
как природа в прозе,  
но не та, что мните вы, не обещанная.  
Франц — зовет она, обходя ночные дворы —  
Йозеф! Как та набоковская гувернантка,  
прибывшая в Россию с единственным в багаже  
русским словом, и в пелену пурги  
взывала им с пустынного полустанка:  
где?.. где!.. где...  
Хозяин Пришвина живет на соседней улице,  
она, Пришвин, от него уходит — на дни и ночи,  
и кажется не в себе, но как бы медитативно.  
А хозяин высаживает селезня с утицей  
на лужок под свое окно. И те, как от порчи  
или сглаза, сидят, живые, недвижно. Дивная  
история. В центре Монахова, баварской байки,  
ну, почти. На окраине путча и Тютчева.  
При том что Пришвин — сестра Франц-Йозефа.  
А что касается отношений хозяина и хозяйки —  
никакой информации. Редкий случай.  
И надо всем этим летят журавли Калатозова.  
Как говорила мне Розмари Титце (Rosemarie Tietze),  
здешняя переводчица «Анны Карениной» на de:  
все эти линии где-то должны сходиться.  
Только где? Где... где...

...

Вспомнил, как еще в брежневские времена, работая реставратором, чтоб не сказать богомазом, спал я посреди страны в Рождестве Богородицы, прикрытой, как срамное место, свято-пусто. Это чтоб не вставать чуть свет и на метро не ехать через реку четырех согласных с редкой ятью, долетевшей до ее середины, приволок я кровать из отселенческих дебрей в Лавре, диванчик такой, пахнувший базиликом, чтоб не сказать клопами. Церковь была голой, и я был молод, оба мы были внутри в лесах. А живопись — обмелевшая, шелушилась, как рябь на реке под дряблым солнцем, где-то там, за Никольской пустынью. Зачатия Анны маленькая церквушка неподалеку, как и положено. Там, из Дальних пещер, буду я выносить на руках мумии: смуглые легонькие тела, ростом 1.40 — 1.50, с живым выраженьем лиц и кожей, похожей на корочку украинского хлеба. Илья Муромец, Нестор летописец, Агапит, врач Ярослава. Я их в дворике, огороженном, майском, клал на скамейки, тихих, распеленывал, одежду их развешивал на веревке, чтобы протряхла, а они лежали, смотрели в небо, просто в небо — тем же взглядом, что оно на них, облака развешивая на прищепках, обернувшись через плечо. А на ногах — бирочки: Муромец, Агапит... Вспомнил фамилию бригадира, он же парторг: Честнейший. Такая фамилия. В Лавре Почаевской, где мы несколько лет работали, он строчил на меня докладные в Киев, что, мол, позорю советский облик, вхожу в контакт с монахами, ем и пью и пою с ними, а с отцом Валерием из окошка келии по ночам глядим в телескоп и ведем беседы. Отстранял от работы

и отправлял в Киев с этой бумагой. Я и ехал, но только во Львов, предавался радостям жизни и возвращался, дописав размашисто под письмом: Воспитательная работа проведена. Приступить к работе с (такого-то). Начальник — Пилипонский. Число, подпись. И шел за монастырским квасом к дьякону. Сидели на куполе с ним, смотрели вдаль, на поселок в несколько улочек, где в полупустом сельмаге объявление висело: круглые батарейки выдаются в обмен на яйца. А чего вспомнил? Бог его знает. Здесь, в Мюнхене, две эпохи спустя. Да и кто там лежит в Рождестве Богородицы, в этом дворике памяти, с бирочкой на ноге, на кровати, пахнувшей базиликом...

...

Это проба письма, не отрывая руки.  
Не от плеча ль? — переспрашивает рука.  
Метафора строится как расходящиеся круги  
от «камня», который не чувствует дна.

Ты у меня одна, бродячая, говорю я душе,  
как собака, которую я подкармливаю собой.  
Смотрит в глаза, отведи, мол, меня домой.  
Ну вот, думаю, опять начинается.

Женщины потихонечку стервенеют,  
набросив на себя заглохший сад,  
чуть расстегнутый снизу, там и виднеет-  
ся это расположение — зоркое, как Моссад.

Совершенно непонятно, куда теперь жить,  
когда мир с людьми отошел, как воды.  
Ни роженицы, ни младенца. Просто годы  
на песке подсыхают, как водоросли.

...

Одна рука над тобой — весна, другая — осень,  
а сам — обрубок, без ног, без рук,  
на тебе играют, как на терменвоксе,  
вся твоя душенька — этот звук.

Так я думал, сидя в мюнхенском арт-подвале,  
глядя на кореянку, извлекавшую музыку из бедра.  
Усиливались, как говорил Парщиков, колебания  
через меня бегущего эфирного кота.

Нервный ее кулачок потряхивало, как от тока,  
а другой — распущенный, увядал, цветок.  
Термен в моей голове ставил Ленину руку:  
кореянка, Глинка, жаворонок, воронок...

Немка рядом со мной на полу сидела —  
Вронски, Клавдия Вронски, ела глаз  
кондитерский, верней, посасывала, смотрела  
им на меня, чуть прикусывая, чтобы был раскос.

На сцене увесистая лекторша в доспехах БДСМ  
вела указкой по космосу, вокс-кореянка  
сопровождала ее, и, казалось, семь  
между мной и Клавдией дней — но уже не явных.

Волосы ее простирались куда-то совсем за Польшу,  
пахли тихой бедой и немножко Сережей —  
там, в таежном краю, куда сослан Термен...  
Свет зажгли, поклонились, унесли инструмент.

...

Что там виднеется, Осип Эмильевич, в нашем окне?  
Вниз, по Ламарку, жизни левее, на заднем дворе,  
там где под вывеской «Воздух ворованный» — верткое время,  
где упражняются евнухи речи с дизайн-гаремом,  
где так искусен брюссельский узор, искушен, обезличен,  
где управляют приказчики с беджиком сомелье,  
где мудрецы выезжают на рейсовом бродском осле  
в светлый читательский ерусалимчик,  
там где ничто под луной. Многоточье. Не ново.  
Там где, как мальчик потерянный, слово,  
что-то на жизни рисуя, что было вначале,  
шепчет: мы в дворике этом совсем не скупаем...  
Видишь? И через плечо поглядело.

...

И как соотносится благодеянье с раной,  
и где стоит печка? В тяжести ли, в свеченье? Чисто  
в горнице, черен погреб от примечаний.  
Мертвые — в рукаве твоём, и не имут сраму.  
На покаянной соломке змеи лежат, как числа.  
Слово и жертва, пишут индусы, было вначале.  
Под одной простышкой. Пожимающие плечами.  
О том, что могло быть, и не случилось.  
Но тоже взвешено — незримое на незримом,  
и учтено. Может быть, там и печка  
с горящими в ней страницами? Снилось,  
наверно, ей, что она Гоголь в Риме:  
в одном углу — кочерга, в другом — богу свечка.



. . .

Ехали мы с Кутиком из Питера, где давали Парщикову — Белого, через станцию Дно в Киев, ехали автостопом, в кюветах спали в домовине листвы. Небо как стекловолокно было наутро, и на вкус тоже. Под Гомелем мы сложили речь в выгребную яму, выли псы, колыхались вороны, как армейские трусы над свинцовым озером, где мы умывались промахиваясь мимо своих очертаний. Козлом пахла земля, время, любовь, слова... Палец слюнили, пытаюсь поймать ветер. Что-то ползло с востока в маскхалате листьев, и вдруг на пуант вскидывалось, заверчиваясь, опадая. Куцый какой-то свет юлил между нами, и под и над, город вдали торчал — как скомканная страница во рту разинутом. Да, Нева, синева, Белый, шли каналами, канализировались до мела — периодами, пили «медвежьей кровью», как всегда, Драгомощенко легче воздуха был, за ним вода, потом уже мы, и какая-то Кибела, кажется, но это мы уже плохо помнили, да, город-Аттис? Уж лучше посох и автостоп. За Питером — Дно, за ним — Гомель, это мы помнили. Как латекс дерево помнит. Молочко чернобыльское. Наливай. Приближались к Киеву, и въехали в Первомай.

. . .

Оглянешься — и годы разбегаются, как зайцы. А отвернешься — хрусткую капустку в слезах — жуют тебя, жуют. А тот, казанский сирота, все выпадает из себя — с любовью.

Ах поле, поле, полустертый коврик — как тот, который над кроватью в детстве, и тот, последний, за которым дверца чуть приоткрыта, и — не наглядеться.

Как тот, который был у ангела под мышкой, когда свернул его и встал с колен, а зайцы сыпались на мнимую дорогу, лишь тот, кто выпадал, висел на нитке.

...

В котлах алхимии кипела жизнь твоя,  
и ты не понимал, что происходит, голос  
чей, зачем кольцо, мешок, петух, змея,  
и звуков, чувств и дум горящий хворост,  
и что за тени над тобой в дыму, и смех,  
и шепот вдруг (ты здесь?), и темные вязанки  
дорог, и близость женщин — этих, а не тех,  
с которыми, казалось, весь в одно касанье.  
Зачем всё так таинственно вразброс, и так  
снует, поет, но где? Ни слов, ни песни.  
Кто в танце душу водит? И стоишь, простак,  
и ждешь, пока вернут, у кромочки, у бездны.  
Ни имени тебе, ни лет. Незримый крюк  
вверху как бог, на нем висишь ты, светел  
от копоти, порукой превращений. Друг  
единственный твой — ты, их лжесвидетель.  
Круг замедляется, и вот пустеет зал, исчез  
огонь, и дым, и тень на мнимом своде.  
И проступают имя и черты, но не прочесть,  
и некому спросить: что происходит...

...

Сегодня в ночь приснилось мне,  
что мы стоим за пологом во тьме  
с индусом, он глазами смерил  
меня как тьму и говорит: «Разведем  
двадцатого». И сладковатый дым  
под полог стелется, и тихий холод  
кладет ладонь мне на плечо. Стоим,  
молчим. Нет, ничего плохого  
не думаю, но все же десять дней  
еще ведь до двадцатого, куда их  
деть и как? И жив ли я? Развей  
хоть это, думаю, до первой стражи.  
Ведь если мертв, то эти десять — срок  
великоват для тел. А если жив — ну  
что сказать... Душевно. «Вот порог,  
а вот и Бог, — и молочко на Шиву  
с улыбкой льет. — Увы, мой друг,  
придется подождать, никак не раньше  
двадцатого. Точнее, в ночь, к утру».  
Иду я. Осторожно, мир окрашен  
и свеж. Иду и вижу там, во сне:  
пресветлый сад — шелковица, деревья  
белым белы. Душа, как женщина, но не  
скрывает опыт свой, а просто время  
выносит легче, становясь другой  
с другим, как некогда со мной.  
А тело тлеет памятью, мужчина,  
дотла. Я шел и вдруг увидел близнеца —  
на дереве, в шелковичной пучине  
сидел он, тих и светел, без лица.

...

И снег в тебе идет,  
и нет под ним земли,  
и кто-то свет зажег  
и потушил, поди  
ошибся. Просто шел,  
как ты, как снег, и в нем  
темнел живой проем,  
как ты, как он, как снег  
ошибся. Взгляд, рука,  
и свет и тьма — вдвоем,  
и быстрые века  
подрагивавших век.

...

Ох дурень ты, дурень, скажет он мне на том свете.  
Жил бы на краю джунглей, был бы у тебя слоненок,  
трогал хоботом по утрам лицо твое, слушал сердце,  
завтракали бы на лужайке, разговаривали о важном,  
и был бы ты счастлив так, как у людей не случается,  
олени паслись бы у кромки зренья, в них солнце  
садилося, и река темнела, вспыхивая, как от стыда  
неведомого, и всё было бы по-настоящему — жизнь,  
счастье, спиной к спине с гибелью, они вели тебя  
взглядом — где бы ты ни был, брали и отпускали,  
вдох-выдох, и слоненок бы рос, да, Хатхи? А потом,  
может быть, я бы послал тебе женщину —  
с тем же чувством и леса и света, и слова —  
на весу, между ними, между счастьем и гибелью,  
медленно поворачивающихся лицом друг к другу.

И ведь всё это было так рядом с тобой и почти что  
сбывалось. Но ты медлил, был рядом, но ждал  
от судьбы, этой дамы с собачкой...

Проходи, скажет он.

Ты один, и в глазах твоих лес,  
и темнеет река твоих губ...

Проходи. И прикроет за мной  
своей длинной рукою, как хоботом,  
дверь.

...

Что делать страшной красоте  
творенья божьего с любви проклятьем  
на лице? Светится непроглядью?  
И в языке стоять, как Даниил в огне...

Я не могу продолжить, нет пути.  
Ты этого хотел? Любовь, быть может,  
в душе моей на беженку похожа —  
как мертвое дитя прижав меня к груди.

...

Местность лежит, как запавшая клавиша.  
Местность ли, женщина... Бублик  
хочу, бублик, — бубнит душа, отлетев. А сам — камешек  
где-то в ее ботинке.

Алеша говорит: как змеиный мозг, этот камешек в пустыне.  
А еще: мы помним, когда очнулись, а не когда утратили.  
А ты что помнишь?  
Лес надевал тебя куклой на руку, вёл к братьям  
меньшим, и прижимал руки твои к лицу, чтоб не остыли.

Надо б совсем от любви оглохнуть,  
как за соломинку ухватившись за эту клавишу,  
как-то вывернуться из себя, говорящего, отлетающего  
с камешком под пятой.

...

Ходить в слова, как в лес.  
И понимать едва ли –  
где лес, а где слова.  
Все меньше  
надеяться на жизнь –  
свою, уже ничью.

Да и не жизнь, а что-то рядом,  
round-  
about.  
И смерть, похоже,  
такой же будет:  
ближе  
всего на свете,  
и так же к нам спиною,  
как и всё.

Скажи себе  
(кому и чем? Слова —  
двуногое ума, такой же голем,  
как в сердце бог):  
печаль моя светла.  
И повтори.  
И что-то там про поле.  
Но даже если ты, а не они, подобье –  
крест не меняется от перемены мест.

Не быть, и не с ума  
сойти, твой посох ищет «или».  
Удел счастливых,  
взысканных свободой  
и детской горечью.

Лежи теперь, как демон,  
низринутый в себя,  
и переписывай —  
все лучше, все больней, до слепоты,  
едва ли понимая,  
что здесь не ты, не жизнь,  
а что-то рядом...

. . .

Смотрю, как будто это не глаза мои,  
а что-то от меня отдельное,  
и то, куда глядят, отдельно от того,  
что видимо: от неба, дома, дерева,  
и думаю о феномене расстояний,  
о лабиринте воздуха без сердца и окна,  
о тьме матрешечных миров меж нами,  
о времени, его змеиных свадьбах  
с пространством, о живых, незримых  
ризмах, в которые уходит взгляд,  
не ведая ни их, ни где он, ни того,  
что происходит с ним, о произволе  
божественном и дьявольском законе  
между деревьями, людьми, дождями,  
словами, чувствами, о веществе едином,  
их образующем, об ангелах крошечных  
на призрачных галерах расстояний,  
о маленьком блуждающем театре,  
играющем в проеме взгляда  
сокрытую от зренья драму,  
где вся история земная —  
не больше мышеловки.  
Смотрю в лицо свое —  
как жгут листву,  
и взгляд висит как дым,  
и тает кисея.

. . .

Я живу с собой, как с тварью,  
неизвестной мне, за дверью  
ходит, водит, за язык  
тянет, бог, отец мой, сын,  
он творит меня из петель  
немоты, из междометий  
между телом и не телом,  
шьет крестом, чтобы летело,  
я живу с собой, как демон  
с той тамарой, только где он,  
был он весь, как вечер ясный,  
дверь стоит и точит ляды  
с ветром, эта дверь без дома,  
я живу с собой, потомок  
с пращуром, где между нами  
лишь бумага, нож и камень,  
на котором мать-природа,  
как словарь для перевода  
с полумертвых языков,  
вяжет свой чулок из слов,  
и с травой во рту, как зверь,  
нас по кругу водит дверь.

...

Я разглядываю следы эволюции,  
нашего т.н. естественного отбора —  
в речи, в чувствах, во всем, что дышит.  
Разные тут стратегии — притвориться,  
к примеру, мертвой. Иль божьим даром,  
чтобы пахли Торой твои подмышки.  
Любовь играет и слепнет в танце:  
кто с ней от сердца — отнимет сына,  
кто усомнится — подложит агнца.  
А между делом — почти парсуна.  
Кто выживает в таком отборе,  
в сухом остатке что остается?  
Какая жажда жизни на водопое  
у пошлости. Не расхлебаться.

...

А потом они изменяют своей природе:  
женщина изливается в смерть,  
а в мужчину смерть входит.

Важно, с кем вступаешь там в отношенья.  
Белое мутное всё, как сперма.  
Спазмы преображенья.

Или ключ бренчит, иль река в кармане.  
Солнце змеится сквозь эту муть  
или ты, родная?

Не обознаться б, но как и чем, если  
ни лица, ни памяти, ни души:  
вот весь ты.

...

Надо бы вот что.  
Прекратить жить своей жизнью, изживать себя.  
Создать паузу, некое воскресенье.  
Пусть этот другой ты, оставаясь на вашем общем коште  
судьбы, сойдет с твоей карусели.

Пусть попробует то, что тебе не свойственно  
или вообще не дано, помоги ему,  
оставаясь на расстоянии взгляда, руки, этой выжимки  
света... Пусть он потом расскажет — тот, под твоим именем,  
тот, кто из вас выживет.

...

В тихом мюнхенском дворике у реки  
лежат камни: на спине, на боку, лбом в землю.  
Маленький, брошенный, безутешен,  
всего ничего ему: 35 млн. лет.  
Ах люба, зачем это с нами случилось?



...

Летят, как порванные письма.  
Ползут и давятся любовью.  
А осьминог — он просто сердце  
без ничего и никого.

Какой-то сбой бредет в природе  
вещей, похожих на людей,  
где женщины совсем не предназначены  
мужчинам.

И мирозданье каракатицы мигает,  
и в схиме материнства умирает.

А он ее всё катит, скарабей,  
как землю, как судьбу, вниз головой.

...

Фотон не ходит в детский сад.  
Ни времени, ни расстояний нет  
для ангелов, — Фома сказал.  
Такой расклад.  
И в этом смысле все они — один,  
одновременно, в каждой точке  
пространства.  
А попадая в глаз,  
он преломляется и создает картинку.  
Ты вся из бога состоишь.  
И за околицей тебя — повсюду он  
как ты.  
Расхожий материал вселенной.  
Я чувствую губами, языком  
все десять тысяч миллиардов  
его — в твоём сосочке. Такого  
его вращение в секунду  
в каждой точке.  
И в пупке,  
и ниже — там, невдалеке.  
И влажный свет. Как импульс и волна.  
Но не измерить жизнью эти два...  
А может, ходит.  
Ростом — ноль,  
и весом столько же. Вот бог,  
лишь скорость выдает его —  
незрим, но поле зренья.  
И направление движенья —  
к тебе и от тебя,  
и вновь к тебе,  
которой там уж нет,  
как и меня,  
но длится взгляд

и тмится дом.  
Так возникают подозрения.  
И сад планет,  
куда наш мальчик вышел босиком.

...

Лицо ее — колеблемый мираж, грудь приоткрыта, караваны плывут в соске ее. Суров пейзаж. И перекинуты между горбов невольники. Подумал вдруг: сокурсник Шнитке — Караманов, жил в Симферополе, в пародонтозном дворике, свой кров искала музыка в семи оркестрах, играющих одновременно. Но где ж их взять? Возможно, меж прямым, слегка змеиным взглядом и уголками губ, едва приподнятых ее. Равенна, я сказал? И нет, родней. И непреодолимей нет. Но имя – в молчании семи оркестров. И еще подумал, что сближение с нею — боковой скользящий ход змеи с бархана на бархан, как иероглиф, пишущий песок и жар. И замерла. По шею скрылась. Еще движение — и нет ее. Лишь мотылек порхал над язычком раздвоенным. И вспыхивал. Как зеркала. Сближения. Их сброшенная кожа. Надрывы в уголках родных, казалось, губ, измученных сближением. И светится лицо ее, темнея, молодея, и семь песков играет на губах.

...

Разведчик встреч сознания и речи...  
 Сознания? Скажи: глухонемых  
 невольниц  
 и демонов, сходящих к ним.  
 Скажи еще: их встреча —  
 круженье мельниц.  
 Огни, скрещения, разметчик...  
 Ну как тебе в раю, Иероним,  
 под кистью ангельской живется?  
 Не кисть, а песнь.  
 Когда б еще лицо...  
 Но их не пишут здесь.  
 А там — бог знает кто  
 стоит с яйцом в руках,  
 от света отделяя солнце,  
 как от белка желток.  
 В словах  
 развей мой прах,  
 в их небе, мой герой,  
 предатель мой, разведчик,  
 скажи еще: «сынок» — пока не вечер,  
 играй, играй  
 с богооставленной единокровной речью  
 в меня — как в исаака и овечку,  
 и дальше — в край  
 преображений  
 и невстреч.

...

Как же оно происходит — падаешь из окна, летишь,  
 и в то же время в женщину входишь, как в тишь  
 голос, который кажется не твоим, а потом в стороне  
 от себя они расплетаются и звучат на чужом языке,  
 а ты всё летишь, и в то же время где-то идешь, и вот,  
 казалось бы, ты, то есть тот, кто эту жизнь живет,  
 но он сейчас не совсем с тобой, а во тьме стоит,  
 обхвативши дерево, но и это — так и не так: летит,  
 а точнее, восходит он, и она отпускает его, едва  
 не встречаясь глазами с тем, кто падает из окна.

...

Кто может «я» сказать —  
вокзал?

Там где-то комнаты для спящих.  
Как людей. Связать  
два слова.

Мы умираем набело.

С козлиной песней.

Не ночь, а черный ящик  
под мышкой ангела.

Кто может «я»,  
тот «ты» не может.

Хоть в жизнь оденься.

Да, Вагинов?

Не мир — тату  
на божьей коже.

Связал,  
и спит. Как в летке-  
еньке. И дерево в саду  
похоже на вокзал.

И мальчик там на пригородной ветке  
сидит и по слогам читает красоту.

...

Бедуин языка, я бы шел между маленьких голых  
аравийских холмов твоей светом залитой груди,  
и ладонь моя где-то за жизнью, размывом пути  
уходила в лицо твое, как в заполярье монголы.

Я бы вел языком, я — последний «язык и рука»,  
и овечки мгновений стоят, чудотворец Николка  
водит руку мою в дождевых облаках, у флажка  
твоих губ, изводя как последнего белого волка.

Я бы стал твоей крови пожизненным пенем,  
если б двое нас было с тобой, а не этот проем.  
И в долине, вдали подо мной разводящей колени,  
чуть светало навстречу и меркло свиданье твое.

...

У нее такое лицо, редкой...  
 И слов не найти, да и чувство — трудно.  
 Будто всю жизнь шел, и вдруг ветви  
 раздвинул: а там дом у запруды.  
 Твой дом, но ты подойти не можешь.  
 Мог бы, наверно, но ведь не в этом дело.  
 Он такой же твой, как ничей, божий,  
 и стоит он где-то между душой и телом.  
 Но не там и не там, и горит окно в нем  
 тихим светом, и нет дороги.  
 То есть вот она, от тебя к дому,  
 но к нему не ведут ни слова, ни ноги.  
 Словно ты там внутри и всегда снаружи,  
 и щекой и ладонью к стене прижался,  
 словно вы с ней родные души,  
 и настолько, что только стена осталась —  
 легче вдоха, молчанья тише,  
 и теплее, чем губы ваши.  
 Ты из этого дома вышел  
 никогда. И все дальше, дальше,  
 чем ты ближе к нему. И знаешь  
 весь его — до ресниц, до каждой.  
 Это старшая память, в которой таешь,  
 как снег на солнце, как лик на своде.  
 Но нет зазора уже для взгляда,  
 и вспять течет он, и не находит  
 того, кто смотрит. Вы где-то рядом —  
 и ты, и дом, и тропка, вынутая из сада, —  
 на этом свете, и там, на том.

...

Почему такой тяжелый осадок,  
 он говорит, от людей? От всех.  
 Потому что дней — семь,  
 а ночей — не счесть.  
 А откуда шинель — из сада?  
 То, что часть  
 больше целого, легче понять,  
 оглядываясь на жизнь.  
 Лежи-лежи,  
 мальчик,  
 глиняный крестик,  
 образующий ять  
 с Богом,  
 это женщина схватывается в тебе,  
 а не межреберная невралгия.  
 Речь к истоку  
 плывет — груз-200,  
 но кто оплачет?  
 Любовь — как пальцы на тетиве,  
 в них весь ты.  
 А что ж тогда летит — полет валькирий?  
 Держись, мальчик.

...

Какое чудесное слово «млечча»,  
чужестранец то есть, «вне дома», его уклада.  
Помнишь, август до сотворенья, звездная течка  
над головой, а в сердце — чуточки лада.  
С отсветом ада. С эхом уже ниоткуда и никуда.  
Как по земному это отзывчиво, да?  
Она лежала, голая, и тихонечко так бежала  
внутри себя. А он смотрел: как прекрасны  
ее черты, варны, касты:  
вот голова-брамин, руки-кшатрии, бедра-вайши,  
а между ними что — Ом, Ом — ни нашим,  
ни вашим? Сами с усами.  
И бежали пяточки неприкасаемые.  
Далиты — тоже хорошее слово. Лечь бы.  
Даль твоя так близка, да любовь — млечча.

...

Она легла в тебе и глядит со дна,  
и как небо разводит тебя руками,  
ты не видим ей, и не то чтоб она видна,  
смуглой водою соткана, твёрже камня.

Не жалея ей, полуденный демон,  
просто сверху ты здесь и сейчас  
оказался. И это сплетённое тело  
между вами двумя — не указ.

...

Открыт? И чувствуешь ладонь, прижатую к тебе?  
 Ладонь природы — к открытой ране в животе.  
 Пульсация как разум, и тепло. И очертаний  
 корочка. Ты чувствуешь? Она читает.  
 А взгляд отведен. Кружит ворон  
 зрачка, без ворона. Лишь взгляд, в котором  
 и рана дышит, и ладонь. И нити  
 тянутся за ним. Не те что мните вы...

...

Волк — на горле, а олень —  
 на коленях: волколени  
 ходят-бродят в человеке  
 между жизнью и нежизнью,  
 то летают, то скользят.

И не то чтобы не больно  
 и не страшно, но, похоже,  
 их на танец пригласили,  
 они даже плодоносят,  
 а печальные — цветут.

Если б кто раздвинул ветви  
 и взглянул — почти виденье:  
 на груди он, как младенец,  
 у нее — глаза Марии,  
 затуманен влажный свет.

Но никто их не раздвинет —  
 ни видение, ни ветви,  
 ни запекшиеся губы,  
 ни колени, ни реальность  
 кем и чем бы ни была.

Разве что, в условном небе,  
 в мимолетном человеке,  
 в этой нежити-любви,  
 в этой душечке тоске ли,  
 знать бы разве в этой жизни,  
 знать бы что...

...

У любви своя ниша памяти, своё царство  
тней и света, нам едва ли подвластное.  
И пока мы друг в друге с тобой исчезаем,  
они проступают — но где? — наши бывшие  
женщины и мужчины. Вполкасания или ближе  
губ? Незнакомые меж собой, что-то шепчут,  
проступают как складки воздуха, а те двое,  
у окна, обнялись, словно это не наша встреча,  
а их, настоящая. Им видней, что с тобою,  
что со мной. И, где были одним мы, лишь тени  
припадают к пустой, еще теплой постели.

...

А помнишь, я тело твое необитаемое открывал,  
снаряжал экспедиции из ладоней и губ, шел и плыл,  
и на бедре-береге цвета слоновой кости твоим умирал,  
надо мной кружили все твои ни гугу, светлый пыл  
мой взметая крыльями, словно пыль. В молодых мирах,  
где еще не родилось солнце, лежало твое лицо. Я был,  
казалось, когда оборачивался, но не отсюда — будущим  
оборачиваясь. А настоящее не сводило своих концов,  
как и мы этих рук, ног, времён... Туловище любви,  
отделившись от нас, рвало себя на горящие корабли  
и запускало по глади, лён собирало, играло в плен,  
взгляд мой между Харибдой и Сциллой твоих колен  
трепетал, как птица, защемлен... И сдвинулся створ,  
и ослеп Одиссей, и сомкнулось над ним волшебство.



...

Маленький хайдеггер вопрошания  
распускается, тих и холост,  
воздух в полях радеет,  
небо в незримых прачках.

Когда пчела жалит –  
утрачивает способность  
к деторождению,  
будущее утрачивает,

остаются только корзиночки на ногах.  
Пыльцу собирать с бытия-к-смерти.

Да и так ни на ком ведь лица  
нет, и не было.

Светел легонький прах.  
Лишь ветер  
и корзиночки. И пыльца.

...

Я любил тебя на границах сред.  
Как и ты меня — в междуречье.  
Даже тело было такой границей, а не пределом.  
Ничего от нас не осталось.

И слава богу. Всё что здесь оставляет след,  
исподволь потом разворачивает за плечи  
к себе лицом и ест, подцеловывая. Чтобы пела  
каждая жилочка, чтоб без голоса ничего не осталось.

Ничего, что без голоса. Только свет,  
а течет, как кровь, где любовь была превращеньем,  
мною с тобой обернувшейся на прощанье  
на границах сред, на границах сред...

...

Одиссей возвратился, и не может ее узнать.  
 Кто она, как сквозь воду в него глядящая?  
 Так похожая на жену, а верней, на мать,  
 только чью? Как сквозь воду, а проступает соль,  
 где вода отступает в ней от волос до пят.  
 Не узнать ее. И она его не узнаёт.  
 Он пространством и временем так объят,  
 что всё кончено для него. Кто стоит  
 рядом с ней — сын ли? Тот, кого провожала?  
 И всё то, что она распускала и пряла,  
 горит под ногами. Так они и стоят  
 эти трое, и солнце над морем висит,  
 и, похоже, уже никогда не зайдет.

...

Происхождение человека — история воображенья.  
 (Как говорят в Украине: шалэна уява, скажэна.  
 Волшебные черевички, да, котя?)  
 Мы отличаемся от всего живого только этим,  
 верней, степенью этого дара.  
 (Грядущий пращур. И не ноги, а кущи.  
 Вечное возвращенье божественного кадавра.)  
 Странно, что столь очевидное, рядом лежащее,  
 было как бы в слепом пятне.  
 (Как женщина. Игра света на полотне.  
 А написана вся с голоса.)  
 Труд, социальные связи, защита «голости» —  
 расскажите об этом животным.  
 (— Вот я, Господи.  
 — Да неужели.)  
 «Язык и рука» — следствие воображения.  
 Как и искусство — его полигон.  
 (И тут они сходятся как молоко  
 с кровью.)  
 И свобода, и время — в нем. И огонь с любовью.  
 А уж сколько в этом даре божьего промысла,  
 и сколько червячной необходимости —  
 вопрос к весам.  
 (Что-то с кем-то боролось,  
 а потом один из них  
 вышел из колеса.  
 Полегчало.  
 Не пылит дорога.  
 Улыбнулась, а глаза случайны.)  
 Потанцуем немного?

...

Она ходит из угла в угол, у окна замирает,  
чувствуя, как минуты скользят по ней  
мухами по стеклу. Временем, говорит,  
надкусывая яблоко, мы себя замарали...  
Все, что есть я, говорит, — пред-взятое.  
Девственность снится ей, снегири  
на снегу. Ходит по комнате и стареет,  
чувствуя, как время трогает ее повсюду,  
льнет, срастается с ней, незаметно,  
исподволь, а особенно от повторений  
жестов, слов, и — чего там еще? Сосуды  
проступающие на ногах, ручейки Леты,  
она говорит, вниз, как бы вдаль глядя,  
и, поднимая глаза к зеркалу: ты, время,  
не существуешь — без я... Как пламя  
без воздуха. Неужели же это тренье  
(дует на отраженье: ложись, ложись),  
этот трепет меж нами — жизнь?

...

Чувство такое — как накроет, и не увернуться.  
Будто тебя изнасиловали. Тихо так, пусто,  
ни дуновенья, нити подрагивают, не рвутся.  
Безотчетное, беспричинное, и лица не видел.

А потом лети к ангелам, танцуй, как умеешь.  
Вот радость-то. Может, сказать прямее?  
Демон тебя имеет сзади, а бог спереди.  
Вот и всё пожизненное милосердие.

. . .

Здесь красота живет вниз головой  
и цедит землю,  
а к небу — вульвочкой цветет,  
благоухает.  
Сама себе и цаца, и изгой,  
и дева юная, и семя,  
и моисея избранный народ  
рассеянный, и арабесковый мухаммед,  
и будда в колесе воздушном,  
и брахма дремлющий во рву некошеном,  
и все они в ней видятся, как меньшее  
в неизмеримо большем.  
И мотыльки, обмолвки света божьего,  
хмелеют на полях, сосут красу кромешную,  
и как пыльцу несут ее благие вести,  
и сретенье, и крест, и воскресенье...  
Цветочки это всё, цветочки, —  
поют они, — от жениха невесте,  
отцов пустырников их женам непорочным...  
И тьма луну катает в горних снях,  
как знахарка яйцо от порчи.

. . .

Рыбы ели Соснору.  
Длинные и слепые.  
Обсасывали с исподу.  
Как водоросли висели  
на прутике позвоночника  
внутренности.  
Как рейтузы  
или чулки на веревке.  
Сепия.  
Все было сепией —  
воздух, соснора, рыбы, земля, вода,  
похожая на солдатские скатки.  
Или доведенный до состояния сепии  
воздух (пигмент), вода (разбавлен).  
И нужно было куда-то его нести,  
взявшись за этот прутик  
со спутанными буквами.  
Но куда?  
Не вспомнить уже.  
Утро,  
как декорации не разобранные.  
Танки, поля, панночка-жизнь...  
Там,  
где-то в гражданскую  
все еще боронят сепию хуторяне  
под Богодуховым  
на слонах.  
Откуда ж они взялись  
и куда их потом дели?  
Ты не возьмешь меня за руку —  
нет у нас этих рук.  
С кем изменяет память?  
Длинные и слепые.  
Уголь. Окаменелости, отпечатки.

...

Все очевидней: слово не хочет жить  
с пишущим, дышит в сторону.  
Вроде обоим есть еще чем дорожить,  
но в близости не обманешь.  
Вроде еще семья, вроде жена еще,  
даже возлюбленная... В тебе,  
как за соломинку утопающий,  
речь хватается за немоту.  
Но не обманешь, она не верит  
ни в гибель с тобой уже, ни в спасенье.  
Рядом она, в доме, по крайней мере.  
Но это «рядом» невыносимей, чем врозь.  
Хоть бы случилось куда отвести глаза,  
если с ней живешь и не видишь.  
Цветут наперсточники чувств  
и лжесвидетели. В Опочку  
уехать бы. Молчит, не хочет.  
Как сослана в тебя без права переписки.

...

Снился Алеша Парщиков, но не он — звездный хамелеон  
мерно раскачивался вместе с космосом на рессорных лапах,  
обмениваясь образчиками возможной среды обитания —  
вдох на выдохе. Тьма под ним двигалась, как эскалатор,  
в разные стороны, и где-то вверху, далеко, на выходе —  
мушка светящаяся трепетала, он мог бы одним плевком  
взять ее. Медлил язык, и глаза назначали свидания —  
каждый свое, множились женщины сред и мужчины суббот,  
сад не пойми чьих друзей, как зарница, по небу метался,  
тазовой костью под ними обломок вращался, как колизей.  
Где-то, совсем на краю выживания зренья и пенья комет,  
видел себя он, Алеша, — живого — как слово —  
которого нет.

...

Вот один. В полутьме:  
 нарушение равновесья  
 через оползни зренья,  
 когда тени от веток  
 скользят под ногой.  
 Где ж стоит это дерево? –  
 ни земли под ним нет,  
 ни источника света,  
 ни ветра.  
 Может, даже и нет его,  
 только тени колеблются.  
 Но откуда и в ком  
 это легкое сердцекруженье?  
 Почему всё плывет,  
 и так трудно идти?  
 И так зыбко,  
 так приблизительно всё,  
 не единственно.  
 И невесомо. И смертно.  
 Или это не тени, а строчки.  
 Аркадий.

А другой —  
 в чистом поле  
 без поля,  
 без края,  
 но с преданным псом:  
 взмах руки —  
 в упоении пес исчезает.  
 Но только куда,  
 если нет ни пути, ни имен  
 в той седьмой стороне?  
 И откуда

возвращается,  
 преображенный,  
 к ноге?  
 Если нету  
 ни поля, ни взмаха,  
 ни пса.  
 И не видно ни зги.  
 Только строчки.  
 Алеша.

...

Дни токуют, как глухари —  
где-то там, на деревьях жизни.  
А сам лежишь, недвижим,  
и пальцем пошевелить не можешь.  
Но всё слышишь, дышишь,  
только веки тяжелые.  
Так бывает, когда жалит змея,  
но не всякая, — вроде крайта:  
где-то к исходу второго часа  
начинает плавиться и искрить —  
там, внутри, далеко под тобой,  
как ночной город,  
но огни не болят,  
и следа от укуса нет,  
да и не было никакой змеи.  
Свет ли божий,  
или близкие водят лучом по зрачку?  
Яд не трогает мозг.  
Ужаленные обездвижены,  
но в сознании,  
они слышат тебя,  
просто отнято всё, чем могли  
дать понять, что они еще здесь.  
Их хоронят, сжигают — живых.  
Или вот, как бывает с природой:  
стоит и смотрит в пустоту  
остекленевшим взглядом,  
и шевельнуть не может  
ни светом, ни тобой.  
И с ней судьба твоя, спиной  
к тебе, перебирает рифмы,  
как воду пожилая нимфа.  
Короткая, но дивная пора беззвучно

свернулась кольцами. И птица,  
как Тютчев, отвлекает от гнезда —  
которого и не было — молчаньем.

...

Радуйся, суслик, радуйся, Иов, радуйся, полевая кашка,  
и ты, лунная дорожка позвоночника, и ты, полукровка-  
жизнь, и ты, левиафан в голове моей, посудной лавке,  
радуйся, мужское и женское, вас могло и не быть вовсе,  
радуйся, ослик несотворенного и ты, икающая пустота,  
радуйся, желтое чувство смерти, как на ветру колосья,  
Богородица-Дева, радуйся, евангелие твоего живота,  
радуйся, радость моя, что ж ты одна сидишь в темноте,  
ни души в тебе.

...

И запах осени, как в доме престарелых  
в какой-нибудь Швейцарии,  
и чистенько и тихо, до утра  
не гаснет коридорный свет, и мелом  
начертанное облачко мерцанья,  
как за стеклом дежурная сестра.  
Река лежит, вся брошена, не спится,  
глаза открыты, и песок в горсти  
бесчувственно в ночи перебирает.  
И у деревьев прожитые лица —  
до жилочек, до каждой, до кости.  
Душа припала к телу — как украли.  
И память роется в углах и водит взглядом  
по голым стенам. Кто здесь, покажись.  
Одна душа. С сестрой. И запах прелый  
почти неощутим. Прийти бы рады,  
но не придет никто. И ложечка звенит о жизнь.  
Как чай разносят в доме престарелых.



...

Этот маленький город русыми косами  
 лег на темную воду, а лицо стёсано  
 вместе с именем, весь у края России.  
 Двое здесь их: ворон из Абиссинии  
 и человек, которого звали Иммануил.  
 Ворон, ростом с ребенка, стоял, долбил  
 пупсика, он взвизгивал, ворон вздыхал,  
 череп Иммануила в гробнице своей лежал  
 на боку, смотрел на кости — вроде бы все.  
 Когда-то он на этих ногах ровно в семь  
 ходил на прогулку, и горожане свои часы  
 по нему сверяли, покачивался, как сын  
 чистого разума и нравственной невралгии.  
 Небо в этом городе жило лишь благими  
 намереньями, а не звездами или синью.  
 Чередовал вздохи с грудной икотой абиссинец,  
 Зоб его бирюзов, сам черен, а рог сломан,  
 землю сжимал в горсти, как я — слово.  
 Так мы с ним говорили, оба прильнув к сетке,  
 солнце висело над нами на нижней ветке.  
 Горькое говорили. Собирая последние вещи  
 взглядом. Мир минус небо женщин  
 строил Иммануил. Видимо, для острастки  
 время долбило пупсика брошенного пространства.  
 Ворон сквозь сетку просунул клюв и приоткрыл,  
 насколько ему позволяли прутья, будто был  
 я его отраженьем. Я и был. По ту сторону —  
 там, где в кости играет Иммануил, или в ворона —  
 день с бирюзовой шеей. То есть здесь, нигде,  
 в городе на краю, где страна оборвана,  
 только косы русые стелятся по воде.

...

В Моби Дике гарпунщик по имени Квикег,  
 смастерил себе гроб и держал его на корме,  
 чтобы отправиться в этом, волнами увитом,  
 челне к звездным архипелагам, а не на дне  
 как цветок распускаться в пучинных пчелах.  
 Но когда корабль в битве с белым китом  
 пошел ко дну, всплыл только гробик-челн  
 из черной вспенившейся воронки. Я о том,  
 что давно уже в нем плыву. Такое чувство.  
 Плыву, пишу на стенах свои трудодни и ночи,  
 точнее, пальцем вожу в пустоте. А тусклый  
 свет оттого что другого тут нет источника,  
 кроме собственных глаз. Тиха в разоре,  
 дрейфует память. Он существует еще, наверно,  
 мир, хотя, чем дальше, тем иллюзорней.  
 Да, память, болезнь морская, ты ей не мера.  
 Пиши. Ни звука, ни отраженья. Как будто мелом  
 твой челн очерчен. И мутный морок. Чистый лист  
 плывет, как парус белый,  
 и топит все, что ищет смысл.  
 Я помню женщину... Она была. У слова  
 должна быть женщина, как боженка. На слух  
 чтоб речь стремилась выйти из разлома  
 теней ли, жизни, языка... Была у губ. Добру и злу —  
 свобода что? Они ее не знают. Морось, буквы  
 метет над гладью. Домовинку на волнах,  
 как колыбель, качает. Ночь, и нет голубки  
 со слухом певчим, веточкой в губах.

...

Мне ли знать, что случилось?  
Был у нас дом, сын, мы.  
Отойди от меня, сказала,  
и обернулась. Глаза другие.  
Губы — те, что теплой и мягче  
детства, вдруг стемнели и стали тверже  
дома, мира в окне, руки...  
Отойди,  
тебе сын через годы скажет,  
не с тобой мое сердце.  
Возвращается все,  
только нет тех, к кому.  
Отойди  
все, что жизнью звалось. Мы едва  
это счастье затеплили.  
У тебя — чудеса, у меня — ремесло,  
между нами был сад, и в подоле твоём  
пахли яблоки. Мальчик будет, я думал.  
Мой сын. Чей бы ни был. Не помню,  
как тебя подменили.  
Ты — его, он... Не помню,  
как вошел в тебя свет,  
от которого все так стемнело,  
и ответила кроткой улыбкой — кому?  
Мне не сладить с умом.  
Если грех на тебе,  
было б легче, наверно.  
Я с тобой  
или с жизнью, что ты отняла?  
За покровом,  
который холмом обернется,  
что ты пела?  
Не ты?

Не из смерти его?  
Он поверил тебе,  
и стемнело,  
только лица светились волхвов.

...

Войди в меня, как облако в облако,  
обволакивая, оплакивая сквозь солнце,  
возьми, как цветок чудище,  
любящие не спасутся.  
То что меж нами — не имеет имени.  
Камни теплеют, поют пустоты.  
Думаешь, губы? Возьми, возьми меня!  
Светел бог, потому и в глазах темно так.

...

Зелёный, зелёный, здравствуй, здравствуй,  
древесный, травный живи-умирай,  
станешь ты желтым, станешь красным,  
вот и весь облетевший рай.

Зелёный, зелёный, я тебя вижу, вижу,  
я — твои живи-умирай глаза,  
я — твои человечьи книжные  
леса, леса, леса...

Ты, наверно, даже не знаешь, знаешь  
о зеленом своем вдвоем-вдвоем,  
только взгляд облетающий ощущаешь,  
как и я на себе: умирай-живи.

...

Иногда в процессе письма  
бывает такое чувство,  
что вот сейчас  
между словами  
что-то произойдет, случится —  
то, чего не было  
и, наверное, быть не может  
на пути слов.  
(Но что значит «не было»,  
что мы знаем об этом?)  
Вот кажется,  
ты подходишь к каким-то пределам  
близости  
между жизнью и речью,  
и в просвете  
вдруг начинает мерещится  
выход...  
Куда?  
Что-то сдвинулось  
и вот-вот разрешится...  
Но нет, заволакивает.  
И просвет, и слова,  
и тебя  
с твоей жизнью.

...

Лицо у нее отвернуто,  
а руки-ноги, как молдаване —  
вино и песни.  
Пахнет спермой и ворванью.  
Красота растлевают,  
да, мальчик с головою песьей?

Разве ты не помнишь ее-себя,  
как сновали вы из живого в мертвое:  
сезам — сезам,  
и она вобрала всего тебя,  
а потом лежал в ней, к стене отвернут,  
а она, как посуху, по слезам.

Неприкаянная благодать,  
небеса из конца в конец,  
отрешенные шарики и сосуды.  
Уходящее, со спины — отец,  
обернется — мать.  
Но едва против света уже разглядишь отсюда.

...

Слоны во мне возвращаются на могилы,  
 водят хоботом над травой, с умершими  
 разговаривают, переглядываются, но  
 не прямо, а через землю. Дни идут  
 позади смерти, как солдаты смерша.  
 Хава нагила, не оборачивайся, сынок.  
 В мужском и женском. Кто у тебя в роду  
 третий? Если женщины как туман лежат  
 и рассеиваются на восходе. Если речь  
 трогает твое лицо, руки, как слепой  
 на опознании. Если зеркало от ножа  
 отражение не отличает. Если ключ  
 любовь проглотила и говорит: любой,  
 кто возьмет меня — человек. А сама  
 как дверь витает, поет в чистом поле:  
 я ли, я ли... Если мир — только асана  
 божья — выдохнет, перейдет к другой ли.  
 А пока отдыхают ангелы, на детей играют  
 в подкидную войну краплеными картами.  
 Ангел-родина, ангел-народ, ангел-деньги.  
 Люди отправятся в рай, говорит Коран,  
 на спинах животных. Например, леопард  
 или королевская кобра. Брезгливо наденут  
 их на спину и внесут. Не оборачивайся,  
 сынок. Они возвращаются. Туч румянец.  
 Водят иноискателем. И вдали — пятнистый,  
 как Декарт, смотрит с дерева: цена-качество.  
 А другая, наглотавшаяся соплеменниц,  
 у лица раскачивается в капюшоне, свистом  
 считывая тоненьким и раздвоенным твой ID:  
 мыслишь — стало быть, отойди.

...

Когда я, говорит муха, была, прости господи, Петраркой...  
 Даже вспоминать не хочю, страшный сон.  
 Казалось бы, две-три помарки —  
 и всё, крути колесо.

Но где оно, а где белочка «я», не говоря уж про «ты».  
 А еще бывает, в этом божьем угаре  
 полюбишь кого живого, обнимешь его, как дым,  
 и глядишь — разматывается за плечом весь этот бестиарий.

А ты говоришь: «возлюбленный мой», «любимая». И комарик  
 Шекспир перелетает с одного на другого.  
 Что-то меня от тебя кумарит,  
 геном говорит геному.

Сколько крови, сестра, ты выудила стеклянной палочкой?  
 Подожди губы, дави на пальчик. Один он и ты одна.  
 Когда я был панночкой, говорит одуванчик,  
 был у меня Хома.

Откуда ж ноги растут у воздуха, что там зияет в жизни,  
 что так открыто чувству и неподвластно мысли?  
 Лепестки мои, говорит роза, выстраданы —  
 из людей не рожденных, выскобленных.

Когда мы были ладонями,  
 говорят кроты, мы стояли у слепого оконца,  
 как в молитве, а потом всё рыли ходы, ходы... Доня,  
 душа моя, не вглядывайся в меня, это просто заходит солнце.

...

Еще этот легкий вкус молока оставался и кориандра  
что ли, особенно там, у затуманенного сосца...  
Говорили, что любила она разные варианты  
превращений между мужским и женским. Но лица  
не помнил уже никто. А может быть, и не видел.  
Что-то она хотела, но вроде бросила на полдороге,  
между внешним и внутренним в ней какой-то инбридинг  
происходил, и родилась душа. И ходила, как в караоке,  
в тела. Говорили, кто-то помнил ее ладонь, и что-то  
она делала с нами внизу живота, то есть с ними...  
Говорили в зеленом, любили на белом — всем народом  
богоизбранных чувств, и казнимы, как память, на синем.

...

Вода колеблется, наводчик  
духа играет маревом, как зеркальцем.  
Ни дьявол не указ мне, ни Христос.  
Я пропаду поодиночке,  
не взявшись за руки,  
как пропадали не раз.  
Ничто нам, кроме смерти, не обещано,  
но тем и дороги  
черты пропавших без вести  
всех наших «я» —  
поодиночке,  
в нас.  
В той местности,  
которая с тобой, как женщина,  
чуть светится во тьме,  
колеблется,  
и дух танцует на воде.

...

Не торопиться, нетерпенье — роскошь,  
я понемногу сбавлю скорость,  
где мир как в жизнь впадает в кому.  
И там-то всё и происходит.

Как на искусственном дыханьи  
того, что с богом, и не может,  
как при естественном отборе  
любви, которой страшно выжить,

как без вести пропавший в слове,  
как слово в даре созерцанья,  
я позабыл, что я хотел... Я сбавил  
и это. Вот и происходит.

...

Едино всё и так пребудет.  
И облако, и сын, и лес.  
Христос повесился в Иуде,  
Иуда во Христе воскрес.

В Иерусалиме ли, в Тамани,  
распалась связь иль стая птиц,  
белеет парус ли в тумане,  
иль просто мальчик и отец,

и тайной теплою окутан,  
как Магдалиной, тает след,  
и свет исходит не оттуда,  
откуда свет

*II**За мостом*



. . .

В ней пространство и время в силе  
сошлись, как борцы сумо.  
А с виду она — гусыня,  
выполненная с умом.  
Левша воображенья, блоху обиды  
она подковывает на скаку.  
Ее психика имеет виды...  
Пожалуй, точка. Она — в стогу  
иголка. А стог — в горах тех,  
где лишь слова цветут на прокорм  
людям. Ее характер —  
сундук, плывущий у мыса Горн.  
А в сундуке гуляют лисы  
и словари — их чтец и жнец,  
она актриса  
театра букв, она жилец  
вершин — в углу медвежьем.  
Есть верх и низ в ней, и есть просвет,  
в котором всё, что должно бы между —  
но нет. Переждем. В осле —  
обрыв и озеро печали,  
и дух святой застыл над ним,  
колеблется... В начале —  
был осел. Потом труды и дни  
над женщиной. И в доме  
затеплен свет. Но никого  
там нет. Борцы сумо  
раскланиваются...

...

Было это лет десять тому назад.  
 Снял я однушку в Москве, район Люблино.  
 И собирался выпускать альманах «Мета»,  
 который потом стал «Фигурами речи».  
 И вот живу, собираю его и посматриваю на экран,  
 где охотник преследует раненую антилопу:  
 они бегут — день и ночь, по саванне,  
 один — по следу, другая — чувствуя его за спиной.  
 Алеша Парщиков говорит:  
 а ты напиши Мише Йосселю,  
 который в Торонто живет, а жена у него из Кении,  
 семинары ведет он в Питере и Найроби.  
 Написал,  
 и потянулась дорожка в Африку, о которой грезил,  
 и дошло до Совета племени Масаев.  
 Шли месяцы, масаи рассматривали мои бумаги,  
 чтобы я у них поселился на длительный срок как —  
 не выговорить — как русский писатель-натуралист,  
 пишущий «уединенное».  
 За окном — Люблино.  
 Тем временем, вставало солнце второго дня,  
 охотник все продолжал свой бег,  
 главное — не останавливаться,  
 и не давать ей времени на передышку,  
 лук у него и нож, под 50 в тени,  
 босые пятки колесуют зернистый воздух,  
 она уже чувствует обреченность,  
 но все бежит — без воды, еды, третий день.  
 Альманах почти уже собран,  
 и хорошо на душе — светлым событием.  
 Охотник видит ее: она опускается на траву,  
 выдохлась, на бок легла, ноги подрагивают.  
 Он к ней подходит, садится,

глаз ее (крупный план) смотрит в его лицо.  
 Он говорит ей, взгляд отведя и чуть нараспев,  
 что-то, похоже, из экклезиаста,  
 только теплей, здешней.  
 И кладет ей ладонь на голову,  
 медленно вводит лезвие в шею.  
 Она не дергается,  
 только смотрит все так же ему в лицо,  
 которое, судя по глазу ее, становится небом,  
 и смерклось.  
 Я просыпаюсь.  
 Женщина рядом.  
 Вчера — в это трудно поверить — ее еще не было.  
 В ней сердце дрожит, как вальсок,  
 и маленький йоссель в засаде,  
 и губы, и стойкий солдатик в огне,  
 и россыпи нищих чудес,  
 и шепот в плечо мне: мы в Индии, да?  
 мы не снимся друг другу?

...

Души склещиваются, как собаки,  
 семейство волчьих.  
 Визжат, не разъять.  
 Когда я тебя встретила, говорит,  
 глаза у тебя были гончие.  
 А потом она превратилась в «ять»,  
 вычеркнутую из языка,  
 не став матерью.  
 Странно вела себя эта любовь —  
 то снизу поглядывала, то свысока,  
 то сидела в ногах у нас, на кровати,  
 вязала кровь.  
 Но чем — веточками омелы?  
 Имя свое скрывала,  
 кто ж ее знает — кем была?  
 Легкая такая, худенькая, смелая  
 вселенная, не вывезла ее кривая,  
 черт-те где теперь, сама не своя.  
 Да, стрелы точно подходят к ранам,  
 ими нанесенными, как он говорит.  
 Спиной стоит, и лица ее не увидеть,  
 а мимо — мы с тобой, караваны  
 нас с тобой движутся: пить, пить...  
 Как постыден  
 со временем сам себе  
 ты становишься. Не привить  
 ни закат, ни песок, ни сознание —  
 по-живому.  
 Да, эпифит?  
 Не от почвы судьба, одни притязанья.  
 Или плющ, оторочивший деревце,  
 все цветешь, наливаясь до пожилого  
 опыта. Ввысь, ввысь...  
 Как дымок над Освенцимом.

...

Она умерла.  
 Но так, что нигде ее нет —  
 ни на том, ни на этом свете.  
 Переродилась?  
 Кто ж это скажет.  
 Как саламандры,  
 отрачивая отсеченное?  
 Нет, всей душою и телом,  
 вместе с запахом, кожей, лицом.  
 Но не уличить в самозванстве.  
 Или все ж не бесследно?  
 По нисходящей,  
 на выживание той из себя,  
 с которой труднее выжить.  
 И эти следы видны.  
 Не ей.  
 Иначе б она была.

Иначе б она была  
 на том и на этом свете,  
 как любая душа,  
 если она одна.  
 Иначе —  
 стыд бы нашел щеку,  
 боль — губы,  
 бог — сына.  
 Иначе —  
 заячьих петель зуд,  
 сыпь счастья.

Видишь,  
 как эта фальшь крепнет,  
 как она жить хочет,  
 ей ли, невесте, саван?

Если б она,  
а не эти гробки,  
сырые празднички поминовенья  
на могилах, которых нет.  
Ястребок,  
Мировая душа, Саммамит,  
разрывает себя на части  
в небе,  
а на земле — гробки,  
как узелки на память.

Если б она, но нет.  
Нет ни ее, ни нити  
к той, в кого она перешита.  
Будто дверью ошибся —  
ею. И, выходит, собой.

Так они прорастают,  
наливаясь любовью,  
и цветут, обвивая  
все родней.  
А потом умирают,  
чтобы переродится  
и цвести, прорастая  
в другое, в другом.

Но что делать с лицом,  
с пустотой меж ладоней  
и душой в стороне?  
Ничего.  
Ничего, что фальшивит  
путь и голос,  
и чувства мутятся.  
Тут, как в детстве:  
болеют — растут.

...

Здравствуй... Мы с тобой для веселья  
повод — божьего, он пропал, как молочко  
грудное. Здравствуй. Так говорят в землю,  
лежа ничком.  
Видишь, дожили — не назвать по имени  
даже. Дует, как на ожоги: ты... ты...  
Мир под речью лежал, как вода под ивою.  
С тех и спросится — извивами немоты.  
Что ж итожить нам? Что под елочкой  
новогоднее? Шить и шить...  
И сволачивается, как нить,  
память — вся с иголки.  
И куда-то в сторону — ту, где были мы,  
говорим, чуть дыша: держись...  
Как в петле. Чуть покачиваясь. Без имени.  
Разве боль притупилась? — жизнь.  
Столько счастья далось нам — умо ли  
постижимо? А даров сколько — видишь? Глаз  
не отвести. Мы спеленаты в них, как мумии, —  
хоть на елочку вешай нас.

... .

Знаешь,  
 сидел на веранде,  
 курил, смотрел,  
 как дождь и солнце  
 друг друга отталкивали локтями,  
 немцы вокруг — птицы, деревья,  
 отменно выглядят,  
 даже белочка — и та Марлен.  
 Только вижу ли?  
 Пелена говорит:  
 я воздух, видишь, как я прозрачен?  
 В письменах пелена, в разводах.  
 А присмотришься: будто жизнь.  
 Будто весь ты в ней.  
 Это, помнишь, как в детстве коврик  
 над кроватью.  
 Будто весь ты там.  
 На поруки тебя берет  
 пелена.  
 И не выдаст уже.  
 Ну а ты,  
 гесиод молчанья,  
 моя девочка, мой герой, мой  
 павший,  
 как живется тебе без жизни —  
 труды и дни?  
 Твоя кожа тепла, как пепел,  
 и, как пепел, глаза светлы.  
 Но откуда ж такая тяжесть,  
 если легче огня он и горя тише?  
 На краю земли,  
 за три моря,  
 сын тебя по утрам возводит

из любви и тоски,  
 как воздушный или песочный замок.  
 За три моря ищущу, но где ты —  
 в том краю ли, который телом  
 был,  
 а потом проснешься —  
 такое чувство,  
 будто там, во сне,  
 надругались над ним.  
 Лишь сон,  
 но сердцу ведь не прикажешь.  
 Пелена.  
 Или коврик детства.  
 Ночь меж нами, как пепел, еще тепла.

...

Я живу в тебе, как Марко Поло в тюрьме,  
от стены к стене хожу, баю.  
Сплю в углу на твоей стерне,  
бо нічого крім неї не маю.  
Знаешь, Васко привез игрушку —  
рукомойник с пипочкой, в Бндію.  
Летят три избушки через три пичужки...  
Тоже мне Аль Капоне, индиго.  
А другой — за три моря коня волок, Афанасий,  
думал, невидаль эту индусам впарит.  
А ему басурмане: сделаешь обрезанье, масик, —  
возьмем коня и гарем подарим.  
Баю, баю, тюремщик в глазок смотрит,  
как в мир боженька. Хорошо, говорит, баешь.  
Может быть, так и задумано всё — по три:  
двое мужчин и одна женщина, понимаешь? —  
кем бы они ни были. Рада ли ты, не тесно  
в этой светелке речи, в этой темнице взгляда?  
Баюшки, наши жизни. Слушаешь ты чудесно —  
одна отрада.

...

Знаешь, что вспомнил,  
глядя на детский волчок в ладони?  
Как на острове том,  
о котором не знали, что это остров,  
мы весь день переправу искали  
после ночевки в джунглях.  
Шли вдоль берега, пекло такое,  
что камни в песке дымились,  
а река изводила их пением горловым.  
Ты, сознание терявшая от жары,  
чтоб не выдать себя —  
за улыбку держалась, тихонечко пела.  
Пара стройных оленей,  
стоявших в тени на другом берегу,  
всё глядела на нас как на пару.  
И я обнял тебя,  
и в свои очертанья  
ты так мило не попадала в объятьях моих.  
И блуждающий слон из полуденной чащи,  
в нашу сторону вытянул хобот  
и как будто перекрестил.  
А потом, когда (не) опустились на землю,  
было чудо нам. Да? Но об этом — молчок.  
Мир, как детский волчок,  
укатился, качнулся  
и лег на бочок.

...

Я понять не могу,  
как ты можешь,  
натываясь на каждом шагу  
на жизнь, на погоду, на чашку, на кожу  
свою, на слова — те что мы, те что нас...

Это, знаешь, как ангелов резать на скотобойне.

А они потом, за стеной, опять собираются — из крови, из узнавания тебя, из прощального взгляда, из всего, что есть ты, из всего, кем мы были с тобой, и снова идут под нож.

Я понять не могу, как ты с этим живешь.  
Не даешь себе чувствовать, видеть?  
Просто проходишь сквозь,  
как проходят мертвые сквозь живых?  
Но за спинами тянутся эти нити,  
кость разматывая, понимаешь, кость —  
на нити, когда нет уж ни тех, ни других.

С кем же ты говоришь, с кем они,  
эти ожоги-бабочки, отшелушенные от слов?  
Что с глазами твоими в этой сиротской темени  
счастья, когда по зрачку оно вдруг полоснет?  
Что с ладонями-поводырями,  
за которыми всё так беспомощно стало,  
и не знает, что делать с дарами и сердца  
пустыми дворами. Упала  
любовь и разбилась — о детство.

Ну, значит, живешь ты, хотя и не трудно понять —  
и где ты, и с кем ты —  
жена и другое, и наше с тобой всё на свете, и мать —

но я не могу. А ты помнишь, индусы-аскеты  
в бидончиках носят свой личный огонь,  
и он навсегда, как дыханье. В плохую  
погоду его можно трогать рукой.  
И судьбой. И губами, как я. Называется дхуни.

...

Я так любил писать с тобой с голоса, кто бы знал.  
 Вот сидим мы на траве, в тени, на краю джунглей,  
 у тебя лэптоп на коленях, бабочка на мизинце ноги,  
 а я взглядом по верхушкам деревьев выхаживаю,  
 шевелю губами беззвучно, что-то там наживляя,  
 а ты смотришь мне в губы и улыбаешься, ждешь,  
 и я говорю:  
 ну помоги же мне, здесь, в этом месте... такой  
 переход прихотливый...  
 Киваешь с улыбкой, и плавно покачиваешь головой:  
 «не-не-не». И я не понимал никогда, почему.  
 И не верил тебе, что, мол, синтаксис это такой у меня  
 и всё прочее, входа-выхода нет, мол, со стороны.  
 В самом деле, не опускаться же до имитации...  
 Нет, конечно, так ты не говорила. Покачивала.  
 «Не-не-не-не, —  
 как сказал в разговоре со мной философ  
 с чудным именем Подорога, —  
 время созерцания кончилось».  
 И тебе так нравился этот реверсный брачный  
 его пируэт перед пропастью.  
 О какой же ты стороне, если их божьей милостью  
 нет. Как бывает в любви, а у нас с тобой — в слове.  
 В этой чуткости, близости инцестуальной,  
 которую божьей едва назовешь.  
 А ты говоришь: не могу.  
 И это тем более странно, что вот Мандельштам,  
 например, или Данте стоял бы, глядел на верхушки  
 и что-то шептал: в этом месте такой переход...  
 ну ты понимаешь...  
 А я бы с лэптопом сидел, с мотыльком на ноге,  
 и если б о связке шла речь, стилистической что ли  
 запинке, намётке, не больше, то я бы, наверно,

два-три варианта каких-то нашел бы —  
 не значит, что те, но не это ведь важно.  
 Сидишь  
 как пейзаж, как условие акустики голоса, речи,  
 как ля камертона,  
 похожем на шпильку в твоих волосах, «не-не-не»,  
 улыбаешься, годы, и бабочка не улетает.



...

Ничего, моя милая, всё пройдет,  
схлынет с кровью, с любовью,  
ничего не останется,  
в сердце яблонька расцветет  
и у ног сядут зайцы.

Ничего, моя милая,  
это будет вначале –  
ничего. А потом полегчает.  
Дивный свет над могилою,  
детки, солнышко,  
всё включено.

Надо жить, моя ясная,  
это боженька в спину тебя толкает,  
никого там нет.  
Всё он взял себе, чтобы связана  
не была. Не смолкает  
этот дивный свет.

...

Я пока не знаю, как это сказать.  
Так всё неочевидно.  
Разве что ты могла бы меня понять.  
Ты, которой нет.  
И это «нет» как свидетеля — куда больше,  
чем наше «есть»,  
порознь, в нынешнем.

Как же это сказать?  
О покровах памяти:  
взгляд приблизишь — притворяются неживыми.  
Отойдешь — оживают.  
Это знаешь, как что?

Как... Веланголи.  
Дивное имя для индийского городка  
на краю света,  
обдуваемого песком забвения у Залива.  
Веланголи,  
ни одной тропы человечьей не вело к нему,  
кроме той несусветной,  
становившейся нами.

Длиннее чем жизнь  
был автобус, без дна, без «откуда — куда»,  
и водитель в леса уходил, возвращался  
другим.  
Да и люди, как годы, менялись в лице.  
Да и люди ли?  
Помнишь, так долго  
мы смотрели в окно, что лицо незаметно  
превращалось в окно,  
и когда возвращались мы взглядом друг к другу,  
будто медленно падали в окна.

А потом вдруг Веланголи —  
 с того света картинка: какой-то диспансер  
 пространства и времени:  
 все население,  
 ни за что обращенное в христианство,  
 шло по городу с метлами и мело на ветру  
 ускользящий этот песок.  
 И особенно дети.  
 Или кажется так мне теперь сквозь прореху.

А потом мы сидели с тобой на кривом берегу,  
 и какой-то бычок-лилипут между нами  
 ел с ладони незрелое манго  
 и смотрел  
 то в твои, то в мои — как в прорехи — глаза,  
 словно в этом причина, что он существует.  
 И багровое солнце топило себя в океане.

А потом —  
 сквозь узор истончившейся ткани и дней —  
 утлый егерский домик,  
 степь, плывущая в мареве зноя,  
 два оленя, сцепившись, висят над землей,  
 как кулон.

А в другой стороне — у залива —  
 розовато карминный колышется свет,  
 будто прачки полощут его, не фламинго.

Между этих сторон,  
 и лицом в эту жухлую горькую степь  
 ты лежишь  
 и всё шепчешь в нее мое имя.

Ранголи —  
 узоры миров,  
 их рисуют цветными мелками  
 в предутренней тьме у порогов домов  
 босоногие женщины,  
 свет их читает, стирая. Wie lange?  
 Как долго?

Веланголи, помнишь,  
 Веланголи....

...

Речь моя так любит тебя, вся светится,  
а с другими — пятку волочит, клюет носом.  
Легкие лестницы  
нас кружили. Из рукава воздуха  
вынешь фразу,  
а ты подхватишь, минуя триста сорок одну  
страницу, несуществующую, и мир создан.  
Думаешь, за это тебя люблю?  
Трудный вопрос. Счастье у нас речевое,  
что ему стоит сердце вырвать  
мое, твое? Ничего.  
И разойдемся мирно,  
вроде души и тела,  
слов не найдя тому,  
что в нас не умело  
дышать иначе,  
минуя триста сорок одну...  
Ты ведь смогла? Значит,  
и я смогу.

...

Где же ты, почему ты молчишь?  
Надо идти, говоришь, ту жизнь,  
которая под ногами, чтоб не упасть,  
ведь и так ее нет, как земли.  
Я оглох от молчания. Надо  
идти. У того, что меж нами,  
нет могилы. Как у Паганини.  
Ветерок заголяет останки.  
Ветерок и слова. Мы и внешне  
немного похожи, если вместе  
сложить наши лица, на него,  
и особенно ты, да, Николо?  
Ну не то чтобы нет, сорок лет  
из могил вынимали его,  
опуская в другие. Истлело  
всё, кроме лица. Перед смертью  
его голос покинул, тишина  
исповедалась. Почему  
ты молчишь? Надо жить.  
Эта музыка ходит за нами,  
как тихий и зоркий горбун,  
и разверсты могилы,  
как футляры без скрипок.

...

Что происходит с нами? Только следы, следы,  
только песок, песок, змейки сыпучие слов, смертей.  
Это не путь — узор на зеркале. Вытри. Из пустоты,  
как грудничок у сердца, видишь ли ты меня?  
Видишь — как, перевернуты, тянутся к нам те,  
кем мы с тобою были, мертвых не хороня.  
Вижу ли я? Нет, не глаза это. Кто я, чтоб их иметь?  
Можешь воткнуть иголки, как в подушечку для шитья.  
Сердце за рукоять держит не кровь, а плеть.  
Я тебя чувствую — ежеминутно: семьдесят пять —  
пульс. Вытри себя, меня — и проступит она, любовь.  
Ой ли. Холодом веет от наших душ. Наломали дров?  
Будет им обогреться на свете том.

...

Пришла средь ночи, без лица, и постелила  
в углу себе. Но не легла, всё семенила  
от стены к стене, и тоненько так дула,  
как на раны, на них и сквозь меня.  
Пришла, и всё. Сказать не может,  
предутренним прерывистым мелком  
начертана, лишь кружит, крошит, мажет,  
и стихнет вдруг, дрожит. Как не тревога.  
Как не во тьме дорога, и запорошен дом.

...

А помнишь, как мы отправились в Вайташваранкоил через всю Индию? Ыыыындия, вдали гудел машинист, и мы подпевали: ом, дом! Ча-ча-ча, танцевали разносчики чай. Нас там четверо было: Рашид, пару юных японок прихвативший с собою под мышки, и мы. Ну, бакинец Рашид он — для нас, а для тех, кто стоит на ходулях просветления — свами Амрит и индус. И мы едем на юг, в эти дивные заросли букв (гарба грха — дыр бул щыл алтаря) — за судьбою своей. Ну не так чтоб всерьез, но об этом при свами — ни-ни. Гардероб всех людских (и не только, как мнится) там судеб. Но — тсс! Тайны хроник Акаши. Века, Нотрадамус и Папа.И дети. И мы. Не до шуток, они от смущенья. Вот палец Рашида, вот Индия, поезд, две юных японки самосуедают и всё конспектируют. Библиотек этих несколько — здесь, на земле, а архив — наверху, это знает, похоже, тут каждый вернадский. (Ты помнишь, какой-то старик в темноте, когда мы спросили его, как пройти, обернулся к нам: Там, — культею взмахнул, — всё написано, в Книге небесной!). А ключи от канала между верхом и низом — во рту у брамина. Он библиотекарь. И дар этот вместе с ключом и каналом (ты здесь?) переходит в пределах семьи — по наследству. Отец, видно, пишет, он там, наверху, а сын, он же «ридер», вас в доме встречает. Лет десять назад этот ридер нашел в гардеробе Рашида, судьбу его то есть, и на руки выдал, с тех пор он с судьбой на руках (как ты со мной, помнишь, когда на коленях твоих я уснул с глазами открытыми, глядя в лицо твое, в тихом ночном, похожем на утлый леденчик, автобусе). Да, все подробно — от предков до дня его смерти. И чин-чинарем — всё узорах кармических знаков. И были такие детали, как он говорит, о которых никто, только он. Всё сошлось. Ежегодно теперь приезжает сюда — чтобы править судьбу. Как корректор к редактору. Местность — небесной зеркальна: планеты стоят на земле в виде храмов, вот карта: храм Солнца — он здесь. Ты помнишь, мы, босые, там по дорогам пылили и краски с лотка покупали (веселые горки

пигмента лежат, осиянные, в темной шухлядке в г. Мюнхене, живы еще), пока наш Амриторашиджи судьбу корректировал пуджей в заросшем, заброшенном Солнце (в фб, на страничке моей, на заставке). А там — храм Плутона, а в нашей деревне — храм Марса. И вот, ежегодно, Рашид как планетообходчик их в строгом порядке узором обносит с судьбой на руках. А поезд гудит с переливом протяжным, в нем нет машиниста, и ветер гуляет вагоны, и вечер, и окна без стекол, японки на верхние полки вспорхнули, у них на ладонях нет линии жизни. У всех, добавляет Рашид, японок она исчезает. И список приводит причин журавлиный. Бананы во тьме продают на перроне, пятнадцать сортов их на юге. Тамилы земля, терракота, патлатые реют орлы в расклеванных штанах с бахромой, зиккураты навоза коровьего, солнце в полнеба, и дымка молочно медовая, и — сказать ли? — такое внутри и вокруг безнадежное счастье, такое барбослое... Мы в тамбурке, и земля под ногами летит во все свои детские — видишь? — лопатки мелькают. Судьба. Ее нам вручают. На пальмовых тонких дощечках, исписанных мелко и стянутых ниткой в вязанку. Моя и твоя — не поверишь — судьба. Нашли нас. Но прежде, лишь только я пальцем коснулся бумаги (берут отпечаток, чтоб легче найти в гардеробе), как вышибло свет по всему околотку, во тьме они долго кивали (на пали): непрост этот гость... Потом развели нас по разным каморкам, и там так наивно удили из нас наши био, и уходили, и возвращались, судьбой ошибившись, и уточняли, и вновь исчезали, и все это было такой глубокоуважаемой мутью с дешевой поверх позолотцей, что я, не сдержавшись, легонько вспылел. А ты все пыталась меня урезонить: зачем ты их домик песочный разрушил, взгляни на их лица — в слезах! Мы всё перепишем, — бубнили они нам в дверях, извиняясь, и долго еще нас искали в деревне (в деревне! Ты помнишь, вдруг так захотелось в лесок нам — костер, шашлычок... На улице я у кого-то спросил, он не понял, я стал рисовать на песке: вот курица, это огонь, вот шампур... Где можно купить их? Вокруг нас толпа собиралась, и все мы рисуем: костер, облака и деревья, и птиц...

И тут один вскрикнул: я понял, что нужно им! Сел на мопед и исчез. И занавес пыли. А с чем возвратился — не помнишь? С газонокосилкой? С ребенком? С мотыгой?)... О чем я? Ах да, нас искали в деревне, и свами был очень расстроен конфузом в Акаши, и был разговор у нас с ним в храме Марса (о, Марс потирал нами руки — до искр), полночи кружили мы с ним в колоннадах, как Запад с Востоком, которым вовек не бывать. А ты всё у окон ждала и «божечки-боже» шептала. (Вот годы прошли, и где эти судьбы? Два свитка забвенья лежат в том краю, где прежде по страшным дорогам возили, сокрыв в чемодане, отъезжая голову Сергия. Лавра. В Посаде. Вернее, на даче, в прогнившем сарае, где вся наша жизнь потихоньку истлела без нас, и только бинокль тех свитков белеет... И что-то, похоже, сбылось.) У окон, и «божечки-боже». Пришли, а наутро ему подарил я сандалии, а он — марсианина Шиву, фигурку с мизинец. Обнялись. Простились. И в раннем тумане, чумазы от счастья, стыда и свободы, как дети от жгучей картошки в золе, весь день колесили полями-лесами, ища океана обещанный берег, прижавшись друг к другу в той маленькой брочке тук-тук.

...

Любовь у нас — ребенок из детдома... Ты ладонь на губы мне кладешь: не надо... Я помню тех кротов, лежали у тропы, за ручки взявшись, мертвые, из сада — на божий свет... А помнишь: кварк, нобелиат (бим или бом, за ручки, тот же сад...): ведь должен отношенья к мыслям разум иметь? А Кришнамурти: разве? Ребенок мимо нас глядел, но сквозь (как будто мы душа живая), собой сшивая нас и ось земную, ось... намах шивайя. И ребра твои светом отзывались, прильнув щекой к их худенькой гряде летучей, звал тебя, и, просыпаясь, блуждал в тебе, как Блум в июньский день. И нет конца ему, и занавеской душа полощется в пустом окне — ловец проема. Ее намаз. И мир как арабеска с запретом на изображенья лиц.

...

Мы столкнулись внезапно,  
 в джунглях,  
 на изгибе тропы:  
 он стоял... Но прежде — запах  
 прелой соломы, яслей...  
 Он стоял — так огромен, что с его высоты  
 человек в нас проваливался, как в дыру,  
 и падал, падал... Мама! —  
 выдохнула ты потом. — Разве  
 это был слон? Мамонт!  
 Стоял, как в банном пару, в миру,  
 горой Меру,  
 мутные реки текли из крохотных глаз —  
 там, в небе, и запекались в ногах,  
 а он стоял, рвал над собой ветки — веру,  
 любовь, надежду — рвал, ронял.  
 Легонький расписной прах  
 вился вокруг твоей головы, трепетал,  
 а он всё стоял, чуть раскачиваясь. Пустота,  
 как женщина, билась внутри него. Мотылек  
 вдоль по линии взгляда горел восходя,  
 и зрачок заволакивался затмением.

...

А по утрам я пальцы твои пересчитывал, да?  
 С таким трогательным самозабвением — со смеху помереть.  
 А что? — мало ли как могло обернуться за ночь!  
 Тучка на груди утеса —  
 тоже поди не та, что была с вечера.  
 А потом я индийским деревцем стоял над тобой  
 на одной ноге, радостно, и ладони над головой сведены:  
 ом, ом!  
 А ты пряталась под одеяло,  
 потому что ну нельзя же на счастье смотреть вот так,  
 распахнутыми.  
 А потом ты, как птица, слегка на земле неумелая,  
 в бумазейной ночнушке тумана  
 выходила и на пол садилась под батареей,  
 обхвативши руками колени,  
 и я наряжал тебя в платица речи,  
 и ты, белошвейка чудес и сестра неземных словарей,  
 озарялась тем внутренним светом,  
 которого здесь днем с огнем.  
 И я изнывал наслаждением слушать тебя,  
 превращаясь то в дунь-пустоту, то в сверчка  
 между турочкой с кофе и красным в окне паруском,  
 за которым шел снег.  
 В общем, та еще школа для дураков,  
 то есть тех, кого губят-голубят слова,  
 с кем живут ненаглядно  
 и места себе от родства не находят,  
 вот и сходит с ума в этой близости жизнь,  
 и уходим в слова, как вода (ты любила пустыни) в песок.

...

Если я замолкаю, смолкаешь и ты,  
и возникает меж нами что-то вроде воздушной ямы,  
в которую валится всё — люди, слова... Цветы,  
когда жизнь подступает к горлу, распускаются.  
Черт его знает, к чему это здесь. Или будущий лама  
выбирает предметы своей прежней жизни,  
так я тебя узнавал, трогал, водил по губам пальцем.  
Близость обустроивала углы со сдержанным фетишизмом.  
Они и остались, а между ними — яма воздушная,  
в которую валимся медленно, молча, криво,  
чтоб они подступали к горлу, вынимая душу,  
углы и яма, и дышали края разрывов.

...

Что делать на краю света? Даже не на краю, а далеко за краем.  
Только лечь.

Лечь у реки, соорудив из песка и камней призрачную гряду  
с подветренной стороны, длиной в человечесье тело. И закрыть  
глаза.

А одежда сушится на единственном здесь кусте. Единствен-  
ном, как и та, вдали, непохожая на живую, фигурка у воды. То  
ли книгу читает, то ли пишет.

А по другую сторону, рядом совсем, из обрывистой бух-  
ты доносится рваный, всполошенный, птичий — не крик и не  
плач, не техканье... Женщина там заходится. Как между жиз-  
нью и смертью. И ветер порывами ее голос швыряет, метет. Но  
глаз не открыть от песка. Ты прижалась, лежим.

На краю мир разбелен. Почти белый песок и река, и небо.  
И чувства, и память — все покинуло цвет. Почти. Будто в обла-  
ке мы — распускающемся на нити. Как же мы здесь оказались,  
помнишь?

Да, говоришь, не открывая глаз. Вначале был заповедник,  
где жили гиббоны — седобровые мальчики в черных тужурках,  
и девочки из театра Кабуки. А живут они парами на верхушках  
деревьев и бегут по ним как по небу. Потому что им больно хо-  
дить по земле, не умеют. Бегут и поют: и-ееху, и-ееху...

Я сдуваю песок с твоих век, Джайна. И умираю в тебе, и  
возрождаюсь. И чувствую твой живот, уже на четвертом. Там  
наш маленький Путра. Ибо, как сказано в Ведах, сын спасает  
отца от ада, который зовется Пут. Да-да...

А в сторожке, на краю того заповедника, сидел биолог  
с пером и большим гроссбухом. И писал повесть временных  
лет гиббонов. А жена его — за двести миль от него, на острове  
Умананда, вела летопись вымирающих золотых лангуров. Они  
встречались изредка, на конференциях.

Что же там происходит — то как с жизнью прощается, го-  
лосит, то стихает, поет... Бьют ее, рвут на части? Насилуют?



Жгут? Или она одна там в своем безумии? Даже не скажешь по голосу — молодая, старуха ли.

Фигурка пишет, острова текут, как белила...

А у ближайшей деревушки было странное имя — итальянское: Мариони. Вернее, не деревушка, а жд переезд со шлагбаумом, по обе стороны от которого продавали рыбу Рух. С земли, на газетах. А муку мы брали в пекарне — четвертый из девяти видов. И леденцов. О, леденцы! Там ведь обычно один леденец покупают, ну два-три. А мы гребли пригоршнями по всей Индии, стыд какой, сладкий, особенно те — манговые, ананасовые, ну и лимонные тоже. И возвращались в свой заповедник, который был в двух шагах от границы с той землей (как они говорят: Сестрой), где по-прежнему ели людей. Ты уснула что ли?

Вот так, наверно, годы идут, река течет, и голос этот — без тела, один только голос вьется, рвется, заходится, места себе не найдет — тысячелетья, да?

А потом мы зашли в военную часть и оставили там рюкзаки, чтобы налегке добраться до Брахмапутры, а там паромом — на остров. На ближний, потому как на дальний плыть дольше, чем жизнь. Рюкзаки они отнесли к шалашу ружей. Да, они знают о нас, поначалу прислали два джипа с пулеметом, чтобы аборигены не съели нас. Ночевали они за нашей сторожкой в джунглях. Пришлось убеждать командиров снять опеку. А потом добрались до реки, но паром был так переполнен, что мы сошли. И побрели вниз по течению, просто вниз, по контуру берега. И, оглядываясь: это было последнее цветное пятно — отплывающий паром, исчезающий в этом белесом безвременье.

Нашли место у того единственного куста. И пытались войти в реку, но донный песок там таков, что, ступив, человек исчезает в течение секунд. Представь, мы могли бы исчезнуть — вот так, на щелчок, в Брахмапутре. И эти дивные реликтовые гангетик-долфинс, каким-то чудом живущие здесь речные дельфины сопели бы и поцокивали у нас над головами, тычась в песок. Вот как сейчас, прямо у берега, смотри. Спишь?

Что-то тебе снилось тогда, что-то важное очень, не помнишь? Ты ведь потом мне рассказывала... Как же это собрать? Как же собрать всю эту жизнь? Все так разбросано в ней, да, как тело Озириса на том свете. Так оно, видно, и происходит: думаем, что живем, а потом не собрать. Это, наверно, и станет участью — там: собирание жизни, вечное.

А потом ты стирала наши вещички, стояла в сорочке у самой кромки, а вода ледяная, бела от холода, и дельфины выметывались из реки и грузно заваливались, чуть набок. И пар над нею стелился, и дальние острова — кружевом. А потом мы легли.

А она все кричала, порывами, и вдруг стихла. Солнце было таким же белесым и рваным, как и земля с рекой. Верней, его не было, солнца, будто забелено. И смеркалось уже. Мы сидели, глядя на реку, безвидную, как на полпути к сотворенью. И вдруг лодочка выплыла из той лагуны, откуда крик доносился. Лодочка — узкая, черная, кривенькая, и поплыла по течению. А в ней никого.

...

Я вот что хочу сказать тебе...  
 Но каждое слово ранено — ни выжить, ни умереть.  
 Особенно это «тебе». Которой давно уж нет.  
 А я тобой обжигаясь — как жизнью.  
 Которая там теперь, где от нас зиянье.  
 Вот ведь,  
 если бы в опыте нашем было больше людского...  
 Легче, наверно, когда где-то вдали — огни, жильё...  
 Помнишь, у Кафки, егерь Гракх говорит на барке  
 между двумя мирами:  
 никто не прочтет то, что я напишу.  
 Вот об этом я.  
 Ты-то, похоже, выжила.  
 Да и то — как сказать — ты ли.  
 В сыне ли.  
 Как под воду ушедшая, в эту теплую тьму —  
 в живот.  
 Там и выжила. Под другим именем.  
 Да и кто окликнет?  
 Только то, что нас помнит — нас двоих как одно.  
 Нет его,  
 есть рассеченное надвое и запекшееся по краю.  
 Половиной рта говорю, а вторую чувствую,  
 будто наркоз не отойдет никак.  
 Я не знаю  
 ни кто ты,  
 ни что происходит на второй половине лица —  
 той, что выжила,  
 ни какой тебе ангел накладывал швы.  
 Что ж теперь?  
 Помнишь, вымерли все,  
 и осталась одна — с этим именем дивным...  
 да, Кристина Кальдерон де ла Барка —

последний носитель языка яганов,  
 живет там, на Огненной земле,  
 и не с кем ей перемолвиться, представь, говорю.  
 А ты: очень даже себе представляю —  
 я себе снюсь ею.  
 Помнишь, как мы в лес уходили —  
 как последние дети на свете.  
 И чем дальше от мира,  
 тем ближе к сердцебиенью того,  
 что людей сторонится.  
 Назовем это жизнью.  
 Как она к нам приглядывалась поначалу,  
 эта черта невозврата.  
 Будто в космос открытый, мы шли в этот лес.  
 А потом,  
 в наступившей зиме тишины,  
 вдруг твой голос —  
 из дали такой, что уже и не снилось,  
 будто ждали нас эти слова  
 целый век, чтобы мы их сказали:  
 «Может быть, тот лес — душа твоя,  
 может быть, тот лес — любовь моя,  
 или, может быть, когда умрем,  
 мы в тот лес направимся вдвоем».

...

В тишайшем воздушном окопе  
нездешних безлюдных времен  
зеленого сумрака бродит окапи —  
оборванный на полуслове роман  
меж зеброй, жирафом, тапиром  
и кем-то, как божье прощай.  
Он весь от любви и надежды и веры —  
инцеста дитя. Но и что-то еще.  
Он сверстник того, чего нету и близко  
на свете, и бродит по лесу, как дым  
без дня и огня. И земля неуместна,  
и несвоевременно небо над ним.  
Спи, милая, счастье — как Гоби.  
Когда-то с тобою мы были окапи  
одним и единым, и пару к любви  
мы в речи искали. И вымерли. Спи.

...

Странно, ты говоришь, почему —  
если всё для него возможно —  
не создал он такое несущество,  
как мы, например,  
надели он нас безграничной  
свободой превращений?  
Но и что-то сквозное  
должно оставаться.  
Верней, хорошо бы.  
Как память о детстве —  
до трех непроглядных  
за покровами снов,  
чтоб как лапу сосало твой путь.  
Чтоб наутро быть узанным —  
и собой и другими.  
А иначе — и руки сошли бы с ума,  
и глаза, и улыбка, и рана.

Но ведь мы так и жили с тобой.  
Завяжи узелок,  
мой незримый сынок.  
Мы в петле очертаний своих,  
и чем дальше — тем туже,  
и как воздух земля под ногами,  
а потом нас она вынимает  
из петли, словно воздух.  
Ты — меня, я — тебя.

...

Откройся в слабости, в стыде, ты — царь, ты можешь.  
Не дай руке прикрыть себя, уму не дай, уж лучше посох.  
Ты помнишь мотыльков тех на поляне, так похожих  
на нас — в траву упали, перевившись, и всё меняли позы,  
пока не замерли, сосредоточенно дрожа, два испещренных  
белых и нечитаемых почти, как мы, клочка любви и пыли  
лунной, помнишь, как мы присели к ним — прощенный  
понедельник наш у воскресенья их, и ты сводила крылья,  
вся выгнувшись, и воздух плыл, кривясь над нами,  
как зеркало, и кто был кем, кто на кого смотрел мирами  
незрячих глаз? Чьи крылья, чья одежда, чей рассказ  
в пылце любовной плыл? (Как зеркало, сказал, кривясь?  
Прости за пошлость). Как неумело, стыдно как и стыло  
вставали мы и, отводя глаза, так долго одевались,  
и светлый тихий ужас дул в лицо, в ладони, в спину...  
Они оделись и ушли, а мы остались.

...

Все меньше людей остается у слов.  
А помнишь, мы были, как гейши, с тобой?  
Тишайшие гейши. Они к нам ходили побыть.  
Меняясь ролями. И мы. Вполкасанья.  
Два тела, как память нездешних узлов,  
развязанных на. Хорошо бы, на тропы.  
Ни губ не найти, ни ладони своей не избыть.  
Мы сами, они говорят, исчезая, мы сами...  
С родною отвернутой жизнью попробуй  
обняться и тихо лежать, как с живой.

...

Лепар, шептала ты, лепар,  
 на цыпочки привстав, и вся светилась  
 во влажных предрассветных джунглях,  
 как будто речь о счастье шла,  
 о детском счастье насмерть.  
 А я поглядывал украдкой на тебя,  
 ладонь в ладони, и еле сдерживал себя,  
 чтоб не обнять в сердцекруженье  
 от невозможности всего, что происходит.  
 Но и от смеха, да. В рубашке камуфляжной  
 индийской армии, в больших чудных очках,  
 прикупленных в дешевой лавке воскурений,  
 и шапочке непальской зимней, с поперезками  
 до пупа, похожа ты была на диверсантку  
 с Марса, свалившуюся в райские сады.  
 Лепар, шептала ты, лепар,  
 и близоруко озиралась,  
 и вглядывалась в смутные деревья,  
 и всё казалось нам, они следят за нами,  
 незримые, с листвой сливаясь, провожая  
 нас взглядом. Ненависти — тихой?  
 Нет, ярости — спокойной, ледяной,  
 в которой и презренье и брезгливость.  
 Единственный, кто так открыто  
 в глаза глядит нам с этим чувством.  
 Он и кобра —  
 та, что обычных змей, в их капюшонах дутых,  
 в себя вбирает, как собор, как анфилада тьмы —  
 бенедиктинцев. И вьет гнездо. А к человеку  
 взметаёт голову — глаза в глаза,  
 лицо его шевелится, как тот песок в пустыне,  
 от дуновений взгляда.  
 Она и он —

мы так с тобой и спали:  
 в меня она глядела, а в тебя — деревья  
 смутные, и он — блуждал огнем в тумане.  
 Я помню,  
 во сне меня спасла ты: я с ним бился,  
 как Мцъри, но слабел в его объятьях,  
 клубилось облако кровавой пыли,  
 и ты с занесенным над ним кинжалом  
 стояла позади него, но слезы застили,  
 и все ж — вонзила, сверху вниз, до рукояти,  
 и рухнула без сил.  
 И он. И я.  
 Наверное, в отличие от нас, они не раз  
 нас в джунглях видели.  
 Однажды,  
 играя зумом, я вдруг ослеп: удар,  
 и кровь, и вмятина на объективе.  
 Он, исчезая, обернулся: не снимать  
 здесь, в этом мире, тварь!  
 Такой был взгляд.  
 Потом, в деревне,  
 ты лед прикладывала жгучий  
 к зарубке на моем носу. И я шептал:  
 лепар, лепар... Как будто речь  
 о счастье шла.

...

Центробежная, центростремительная,  
и слепое оконце в конце. Вот и жизнь.  
Думаешь, отворится оно, замурованное строителем,  
а там — дудочки? Дудочки. Помнишь те гаражи  
в Люблино (будто все вылюблено, и мир лежит  
опустошенный, во тьму отвернутый, как мужчина  
после соитья, как ни льни к нему и губами не ворожи),  
и особенно тот, самый страшненький, из пучины  
вынутый — голый, свекольно мгlistый, сидел в ушанке  
снега под домом нашим и ждал, а потом, встречая,  
леденящее что-то насвистывал, утлый, шаткий...  
Может, думал, что он корабль, что к нам причалит...  
Помнишь, пряча улыбку, шептал тебе: «Вот твой дом,  
любushка, а я буду суп в баклажке и кофе в джезве  
оставлять тебе на снегу...» И ты обмирала — в том  
рукавчике вместо шапки, который носила, его отрезав  
от свитера «Марко Поло» — чтобы мной тебе пахло.  
Обмирала и животом прижималась ко мне, дрожа,  
и светилась от счастья с мурашками снега и страха...  
Вот и жизнь. Узор на оконце. С дудочкой из гаража.

...

Закат горел любовниками Климта.  
В ногах у них змея текла, светилась.  
Мы плыли, как венки, кружа по лимбу.  
И это называлось божья милость.

Венки без воскресенья, свет прощенный.  
А знаешь, что желанней и труднее  
всего на свете? Обращенность.  
Ничто мы без нее. И, видишь, с нею.

...

Мы лежали в земле Семи Сестер,  
в голой хижине на краю джунглей:  
четверо всхрапывающих егерей,  
мы с тобою — лицом в солому,  
и проводник — мальчик,  
спящий в обнимку с дробовиком.  
А вдали, за лугом, кричал олень...  
Не кричал, а каким-то воем с кашлем навзрыд исходил.  
Может быть, ты сказала,  
тигр его возлюбленную разорвал,  
и она все никак не срастется в вое его, в зрачке.  
Смерклось. Хижина. Крик, как роды  
смерти, и повитуха-ветер.  
А мы лежали лицом в солому, во тьме прижавшись  
и, как во сне, друг друга перебирали,  
как письма в доме — родном, забытом.  
И той же ночью,  
невдалеке, такой же, как наш, патруль лесничих  
расстрелян был — в упор.  
И по-живому был спилен рог у носорога, самки.  
Трещала рация. Иль угли —  
их мальчик раздувал, проснувшись.  
Ее нашли наутро.  
Она пыталась встать, почти стояла,  
и из нее текло меж задних ног,  
дрожащих, оседающих, и мутно  
она на егерей глядела, и кровавый  
пенёчек рога всё еще сочился. Ребенок  
всю ночь в кустах скрывался и оттуда  
смотрел, как режут мать.  
Теперь стоит и лижет ногу ей, но там не молоко —  
моча и кровь.  
У доктора в питомнике — такой же,

лицом к стене, насупленный, беспомощный  
и горько нежный, глазом косит.  
Лёня! — позвал через ограду. — Лёня. Как деда моего.  
Не знаю, почему вдруг с языка сорвалось.  
Щемь такая. Лёня!  
И он в хламидке той, времен военных,  
и в сапогах кирзовых, шатких,  
на несколько размеров больших,  
ко мне засеменил и замер...  
Ладонь твоя — в моей была, другая — на животе лежала:  
там пробуждалась, улыбаясь, небыль — то,  
что вскоре назовем, переглянувшись: Лёня...  
И доктор в лес повел нас темною тропой.  
Там, высоко, в воздушной кроне, клеть висела,  
в ней девочка в охристой куцей шубке,  
а лицо — как маска театра Но.  
Еду и воду ей лебедкой подымает доктор.  
Он подобрал ее в лесу, лежала в коме. Черная.  
Они светлеют с возрастом, но только девочки.  
Она летела, перехватывая ветви, чуть касаясь,  
меж небом и землей, и вдруг — на проводах повисла,  
без чувств упала.  
Он выходил ее, теперь пытается вернуть в природу.  
Терпенье. За холмом живет семья гиббонов.  
Там есть жених, он ходит на свиданье к ней,  
садится к ней спиной на ветке и в ладони дует —  
как в уголёк, и ловит взгляд ее:  
она припала к прутьям, а он так робок...  
И мы с тобой не можем  
в бинокль разглядеть — ну что он прячет?  
Цветок! Цветочек аленький, в ладонях.  
Лицом в солому. Рация шуршит.  
Оленя крики ветер носит.  
Я была, ты шепчешь,  
красива, как Паоло и Франческа, и носила

с полями шляпу, с небом и лесами, жаль,  
что ты меня тогда не встретил. Мальчик  
свернулся у огня, как пес, и егеря мертвы,  
а пули живы, свившие гнездо.  
Она стоит, моча и кровь стекает по ноге, он лижет  
и тычется в нее. Дрожит хламидка. Лёня.  
Сапожки движутся. Ладонь на животе. Толкается.  
Цветок мандара в небе. Маска. Лицом в солому.  
Кто бы мог подумать, что это всё меж нами, нам,  
про нас...

...

Как младенца выплеснули с водою —  
это солнышко в небе, поля, цветы.  
Прикрывает лицо ладонями  
речь, удерживая черты...  
Памяти? Или нет лица там?  
Выжили. Выбывшие адресаты.  
Одна ладонь — я, другая — ты.



. . .

Мы шли дорогою на Гхум.  
 В нас жизнь менялась наобум.  
 Мария — сердце, Марфа — ум.  
 Меж ними не было Христа.  
 Шел одиночка-альпинист  
 на Эверест. Метель, карниз.  
 Нас двое, думал он, держись.  
 Один сорвался. А второй? —  
 спросила ты. Взошла звезда  
 с куста, похожего на куст.  
 Впотьмах, как в тех эклерах Пруст,  
 разматывал свой путь мангуст.  
 Христос воскрес. Душа — индус,  
 в огонь глядящий — в нас с тобой.

. . .

Помнишь, на лодке с тобою готовили рыбу?  
 То есть не в лодке, а на: она стала костром.  
 Мы понемногу откапывали ее,  
 занесенную песком,  
 и по частям относили в наш сад —  
 тело ее, память, жизнь ее перетаскивали,  
 она покачивалась на руках,  
 а потом горела в ночи — почти труха.  
 Как лицо, ладони тех рыбаков.  
 И тихонько постанывала,  
 тоненько так посвистывала, будто дух испускала,  
 и огонь припадал к нему, слизывал и тянулся —  
 то к тебе, то ко мне, то в сторону океана,  
 будто места не находя между нами.  
 Говоришь, лучше б ты с черепахи и слоников начал,  
 чтобы Земля держалась.  
 Да, вначале был берег индийский,  
 потом деревушка рыбацкая у океана,  
 а в ней мусульмане и пальмы,  
 и слон, который ходил от двора ко двору,  
 и ему в этот день каждый житель в надмирное ухо  
 шептал свою тайну, и слон посылал ее выше —  
 тому, кто исполнит желанья, возможно.  
 А мы проживали с тобой в «благодати» —  
 так надпись гласила на крыше отеля,  
 который давно превратился в руину,  
 а слово второе за «благодатью»,  
 похоже, что «божья», но стерлось.  
 Руина плющом заросла,  
 и жила, как в кафтане цветущем, без тела.  
 И, помнишь,  
 когда мы там спали,  
 вдруг дом покачнулся и тихо пополз:

верблюду, проходя, потянул за гирлянду,  
 веригу, терновый такой поясок...  
 А кто с нами жил?  
 Легион каллиграфов,  
 незримых внучков — покрывали нас ночью  
 от пят до волос письменаами, кроваво!  
 Вспугнуть бы их светом,  
 да нету его под кафтаном. Руина. Вдова  
 верхом на котле водяном, стерегла нас:  
 мохнатые очи, коленца канкана,  
 ее августейшечернейшество я из ведра окатил,  
 но сухой она вышла,  
 и насмерть мы, голые, бились,  
 и ты за спиною моей трепетала, как флаг.  
 Легион и вдова,  
 а еще был индийский Поддубный —  
 директор бродячего цирка,  
 он жил где-то в доме, но где?  
 Мир был пуст и безвиден,  
 когда на своем гомерическом джипе  
 он по утрам выезжал со двора —  
 в афишах, трапециях, черт знает в чём,  
 в полосатых трико и усищах,  
 и с рупором в нечеловечьей руке.  
 Еще был вне-времени-мальчик по имени Шану,  
 лежал на пороге руины, считал облака.  
 Селил нас, точнее, кивнул,  
 и мы через сон его переступили как сон.  
 А нарушил молчанье неделю спустя он,  
 увидев, как рыбу в саду мы готовим:  
 «Там змеи...» И смежил глаза.  
 Значит, вот: легион и вдова,  
 и Поддубный, и Шану.  
 И сад. А точнее, лоскут бесприютный —  
 три деревца, хлам и щетина травы сквозь песок.

И мы с этой лодкой, всё носим останки ее  
 и теряем друг друга во тьме.  
 И волны. Фонарь бы,  
 да мы подарили его в той харчевне — Баширу.  
 Как другу и пекарю, кто по утрам нас так ждал  
 (тебе — молоко и лепешки, мне — кофе и кофе,  
 а после — к портному, ты помнишь —  
 подшить тот вишневый, полупрозрачный,  
 смущавший индусов, комбинезон,  
 который купил тебе в Мюнхене  
 вместе с бельишком, обувкой и ворохом прочих чудес,  
 и примеривал всё на себя,  
 продавщицы смеялись...)  
 Ну да, подарили Баширу, фонарь тот,  
 с которым по джунглям ходили  
 (что помнит он? — тигра, самбара, тебя  
 в той пещерке отшельника спящую рядом?  
 Что помнит фонарик?).  
 Вот годы, и нет нас,  
 Башир все сигналил тем светом,  
 лепешки печет,  
 залогинился в скайпе,  
 у моря стоит и сигналил,  
 и луч, как по водам идет.  
 Наш сын, в той пещерке зачатый,  
 пойдет скоро в школу — в Крыму.  
 Значит, вот, сквозь окно: рыбаки  
 в рассветном тумане плывут —  
 на лодках? на мифах? навеки.  
 Потом, днем спустя, возвращение их.  
 Но другими, других.  
 А потом, в темноте — световое пятно:  
 на арене песчаной их торг,  
 лежат на песке, как рабыни,  
 светясь серебром и смирением,

рыбы.  
 И торг,  
 танец жестов и клёкот торговцев  
 в набедренных тряпках.  
 И тяжесть волны, и темь деревушки.  
 На корточках мы  
 над какой-то глазастою тусклою люстрой  
 склонились, смотрели,  
 как жизнь все никак не могла с ней проститься,  
 дрожала, ждала и слезилась как свет.  
 Купили тунца, малыша  
 (помнишь, где-то в индийской глубинке  
 нам выносили из хижин детей напоказ,  
 но девочек лишь почему-то,  
 а нам невдомек: думал, просто, что делятся счастьем).  
 Малыш, может, девочка даже. Хотя —  
 утром девочка, к вечеру мальчик.  
 И сад, и горящая лодка,  
 над которой, как люльку, кастрюльку качает,  
 в ней масло кипит  
 (отдающее приторно сладким кокосом),  
 в пальме рыба поет,  
 молчим у костра, я смотрю,  
 как лицо твое трогает свет,  
 по-фламандски, чуть-чуть, без меня. И во тьме —  
 приподнявшие голову змеи с травинкой во рту,  
 а за ними —  
 заросшая диким безбожным плющом «благодать»,  
 ни дверей в ней, ни окон.  
 А там, за твоим озаренным плечом,  
 ни земли нет, ни неба.  
 Молчим? Я не помню. Вся жизнь — метонимия.  
 Вот так обверложишь словами, дыханьем  
 то в памяти место, где сердце должно быть...  
 А нет его.

Если б напомнила ты, помогла, подсказала...  
 Молчали? Вот тьма,  
 а на ней черепаха — как та деревушка,  
 на ней — мусульманин Ганеша с печальнейшим ухом,  
 над ним огонек, у которого двое сидят.  
 Хутор света и лодочка лет.  
 Слава богу,  
 не видят ни нас, ни друг друга.

...

Но не рассказать, как сон.  
Про я и ты, но это второстепенно.  
Выплясывало колесо,  
над водами, и в наготе из пены  
речь проступала. А сквозь нее –  
мы — друг в друге. Чья же тогда измена  
смотрит втроем в стену, где был проём?  
Был ли? Ни губ, ни мелоса.  
Так и жить — как песок в свирели.  
И жасмин, заплетенный в твои волосы —  
свет в тоннеле.

...

Тот, кто не сможет ответить после смерти,  
говорят Веды, на вопрос: «кто ты?»,  
вернется на землю в другом облике.  
Кажется, я вернулся. Как вынимают сети  
пустые, тело тянется сквозь годы-воды.  
А помнишь, мы называли его бубликом,  
сына нашего, пока ты носила его. Щадяще —  
«кто ты?» — спросит он, когда меня не станет,  
и передернется воздух... Как семь Марусь,  
написанных Дионисием, друг на друга глядящих  
со стен и сводов — с разным опытом и глазами.  
Кто ты? — выдохнешь. Но я уже не вернусь.

...

Я не знаю, ты говоришь,  
 кто б так чутко и полно  
 жил в настоящем,  
 отсутствуя в нем.  
 А потом озирался с улыбкой:  
 как же так, говорил, как же так...  
 И смотрел на меня  
 как на будущее в прошедшем,  
 не прожитом.  
 Прошлое знать бы свое, говорил,  
 вот бы что.  
 Так нашептывал в будущее,  
 в его заимки, утиная твоя охота.  
 Время, как говорил Гераклит, —  
 ребенок, играющий... В шашки?  
 Давненько, оборачивался ты,  
 не брал я их в руки.  
 (Знаем, как вы плохо играете...)  
 Ребенок, да, у семи нянек.  
 И смотрел на меня с прищуром.  
 Я тебе пригожусь, говорила,  
 светлой радостью здесь и сейчас.  
 Счастье — как заколочка невидимка.  
 А потом, когда стали мы настоящим,  
 настоящей любовью,  
 единым, одним,  
 я не знаю, ты говоришь,  
 кто б так чутко и полно в нем жил,  
 когда всё уже кончено.

...

Похоже, речь не живет с человеком, когда он один,  
 кто-то из них со временем превращается в пса,  
 выгуливают друг друга, тихо смотрят в глаза,  
 когда возвращаются, и все меньше у них впереди  
 слов. Еще остается тепло ладони, прикосновенья,  
 но и это не долго, еще остается такое чувство,  
 что кто-то в доме с тобой, но кто? Голову на колени  
 кладет, как ты когда-то. Или я... И такая пустошь  
 во все края — там, где, помнишь, совсем недавно  
 речь, как будто впервые, с собой сходилась,  
 и это было похоже на танцующий иероглиф  
 двух журавлей на снегу, которые были нами,  
 а потом только снег, следы... Странное речевое  
 счастье случилось с жизнью, настолько редкое,  
 что покачнулась, пытаюсь найти опору  
 в чем-то знакомом — как продолжение рода,  
 или любовь, дорога... Вскрикнула, покачнулась  
 и опустила на озаренный тем счастьем снег.

...

Меж двух дорог, в стемневшей пелене  
разведенных, рождалось что-то,  
и радуга стояла в стороне,  
как муж при родах,  
и свет река пила с ножа...  
И птица вскрикнула, взлетела —  
как мы с тобою, как душа  
над телом.

...

Знаешь, кажется, я понимаю,  
почему этот божий так тоненько рвется  
и темнящая жизнь так кромешно по-женски светла,  
и, подобная волчьему вою,  
речь на вдохе так редко дается,  
она ищет родства, но мутится и голос и строй  
меж двумя безответными... Даже не люди  
в ней томятся, а что-то вообще не  
от мира — в зацеме меж мной и тобой.

...

Если выключить свет —  
еще плавает призрачное пятно, угасая.  
Когда умирает сознание — след  
от него еще длится — свет с голосами.  
Когда исчезает мир, когда его нет уже  
и давно, всё еще тянется — воздух, дом,  
мы с тобой со световой ветошью,  
кровь на губах, думающая, что живем.

...

Помнишь, лодка наша покачивалась  
у шамшана в теплом людском пепле?  
Вода свинцовая, маслянистая, цветы в ней  
плавают маленькие, как изорванные письма.  
Солнце садилось. Мальчик на веслах,  
змея бумажный у него за спиной в лодке.  
Ткнулись в берег, костры горят. Мальчик  
пересел на корму. И стемнело внезапно,  
да? Ты укуталась в шаль вишневую,  
на плечо мне склонила голову. И глядели  
в огонь. Я, вернее. А ты? Два их было.  
В ближнем костре лежала женщина,  
разгорался он, жаром нас обдавало.  
300 килограмм дерева на одно тело,  
священный баньян, твердое, калорийное.  
Я видел, как дрогнула у нее рука, пальцы,  
как заголились губы, как лицо ее лопнуло,  
нет, нехотя так оплавилось, раскроилось.  
Две трети дров — под ней, треть — над,  
она на спине, в середине. Осматривался огонь,  
тот еще, неугасимый. Дерево наружу горит,  
а человек — внутрь. Да, осматривался,  
уравниваясь между ними. Ты ладонью лицо  
прикрывала от жара. В лодку к нам перешел...  
Как же зовут их? Этих опекунов смерти,  
браминов неприкасаемых, этих изгоев  
с божественным проклятым даром, звенящим,  
как цепь, по наследству. Не помнишь?  
В лодку к нам перешел, и мы говорили,  
но больше молчали. Он порой отлучался,  
чтобы поправить обваливающийся костер —  
вышагивая из лодки в теплый текучий пепел,  
ты трогала эту воду рукой? Нет, ладонь твоя

у меня на коленях, другой ты лицо прикрывала.  
 Там, за женщиной, догорал мужчина. Собственно,  
 и не скажешь уже, кто. 84 тысячи перерождений.  
 Но если сожжен в Варанаси, можно и избежать.  
 Я смотрел на тот призрачный дом в полутьме,  
 в который веками идут неимущие со всей Индии  
 и ложатся в пустых коридорах — ждут свою смерть.  
 А этот — как же их звать? — обходит его этажи  
 на рассвете и собирает их — тех, кто дождался.  
 Но ложатся не все, иные стоят у зияющих окон  
 и глядят на костры, на реку. На нас с тобой.  
 Видишь? Не жгут, говорит, святых и младенцев,  
 укушенных коброй не жгут... И кого-то еще.  
 Агхори сидит на стене, медитирует на огонь,  
 неподвижно, неделями, заряжается смертью,  
 в черном весь, а тюрбан фиолетов, и на шее его —  
 ожерелье из косточек. Пёс его бродит в воде,  
 принюхивается к махакале, оглядываясь на него.  
 Мы молчим, разговариваем. Первая бездна, вторая,  
 он говорит, между ними — два ветра, густая вода...  
 Нет, не так. Мир и не-мир, а меж ними — густая вода,  
 ветер тонкий и ветер густой. Где-то на уровне бедер.  
 А над ними — акаши, откуда плывут наши судьбы.  
 Так и было. Только оно растянулось на годы.  
 И рука твоя дрогнула, и кроилось лицо...  
 Я держался еще, или что-то держалось во мне,  
 когда все полыхнуло и скрыло меня. А потом,  
 когда мы догорели и сгребли нас в цветущую воду,  
 мы поплыли, мутясь, расходясь и сходясь...  
 Только то, что держалось во мне и в тебе,  
 видно, где-то осталось. Ни в огне, ни в воде.  
 Два мана сандала, четыре мана топленого масла,  
 он говорит, пять серов кафары, полтора сера алое  
 и десять ман твердого дерева. Мальчик,  
 вернувшись, выходит из лодки  
 и запускает бумажное солнце.

...

А потом, когда речь отошла,  
 в этой нечеловеческой ломке  
 немотой их выкручивает,  
 не вернуться, не дотянуться,  
 и не будет уже  
 ничего ни родней, ни страшней.  
 Когда вся отошла она, речь.  
 Эти двое, как кажется им,  
 с ней последними были.  
 И так долго и так далеко,  
 что теперь только губы остались  
 в этой ломке глухой немоты —  
 в той же мере,  
 в какой была близость.



...

Об этом не говорят вслух,  
и про себя не очень.  
Но я попробую.  
Ты ведь знала, что для меня письмо,  
верней, то, куда ведет оно и чему нет ответа,  
было, наверное, и остается  
важней, прости, отношений с людьми,  
даже близкими.  
Я говорю «наверное», потому что я не уверен.  
И это, конечно, не значит,  
что свет — любой — не калечит.  
Ты ведь знала. Но скажешь:  
всё так, но любила тебя не за это. Напротив:  
ты мог *быть*.  
Но я не уверен.  
Если долго из этого *быть*  
вверх глядеть – в речевое, на нас,  
от которых уже ничего не осталось.  
Лишь полость.  
И знаешь, на что эта полость похожа?  
На домовину.  
На летящую где-то в космической тьме домовину.  
И светло в ней.  
Лишь в ней и светло.

...

Житель индийской деревушки,  
отец пятерых детей,  
заслонил грудью от пули  
маленького оленя.

Летят три пичужки через три избушки...  
Колтуны в памяти,  
приживалки, сухонькие, как репей.

Помнишь, в «Ultima Thule»,  
на той больничной заросшей аллее,  
где он шел, пританцовывая от боли,  
прищемив не палец, а жизнь,  
и продолжал говорить ей — туда,  
в смерть, а деревья тихонько подбирали ноги,  
будто чурались его, внимательно так молчали  
и только когда он задерживался взглядом  
на какой-нибудь ветке,  
она, спохватываясь, начинала  
деланно двигаться, как бы не замечая...

Помнишь, я когда-то звал тебя Оленёк.  
Летят пичужки через три избушки.  
Мир, как Бог,  
чист и пуст,  
и молчит, поджимая ноги.  
Да, роднуля?

Я тебя не сберег.  
Я, житель той деревушки,  
отец пятерых детей, смертей, чувств,  
нажививших пулю.

...

Ты родила сына, я написал книгу,  
мы посадили дерево, дерево нас убило.  
Видишь, как я запутался.

Сын меня прекратил, а потом он тебя родил,  
дерево проросло сквозь нас.  
Песок оголил слова.

Книга во мне горела, сын тебя переписывал,  
дерево в волосы заплетало молнии.  
Мертвые живей живых.

Видишь, как я запутался  
в той петле. Вижу, как ты опомнилась  
на земле. Книга листала дерево,  
нас не стало.

Кто ж, как не ты, дышит во мне так больно,  
кто ж, как не мальчик, тихо в тебе смеется.  
Пиф-паф, что с тобой, зайчик жизни,  
что ж так светло дереву, как в огне.

...

мне кажется что всё  
всё лучшее ушло  
из жизни потому  
что в мире не нашло  
с кем разделить себя  
и хуже смерти нет

а ты иль та иль то  
которые нашли  
с кем разделить себя  
похоже не смогли  
живя живя живя  
и хуже смерти нет

а те кому сбылось  
найти в одно связать  
их нет и не сказать  
которая страшней  
из этих трех смертей

*III*  
*Проёмы*

. . .

Детская железная дорога с падающей Карениной. Запасные фигуры, 12 шт. Заводной Идиот с монологом. В интерьере.

Исчезновение человека. Переход в вальсок, Нимфею Альбу. Одноразовый.

Комедия. Многофигурная игра, девять уровней. Механика, звук, свет, смешанная техника.

Стол длинный дубовый, лампа над ним. Руккола, моцарелла, черри, лайм, масло оливковое. Хлеб. В окне — перекресток, бензозаправка.

Преобразование человека в жука. С реверсом.

Мухаммед. Модель для сборки. Кожа, ткань, аксессуары, свет, гелий.

Утро. Рисунок шагов. Один и тот же. Выбор книг, складывание в стопку, связывание бечевкой. Отнести букинисту, на выручку купить материалы.

Блуждающий призрак с звуковым сигналом («Живи, и помни обо мне»). Дистанционный.

Ландшафтные. Просто дождь, радуга (плавающая). И др.

Тишь в доме. Жена биолог, работает в заповеднике, опыты с врановыми. Приезжает на выходные.

Ребенок в темной комнате. Неоконченное.

...

Я пытаюсь это себе представить.  
 Вот он кладет Адама,  
 то есть его останки,  
 ровно посередине  
 между мужской и женской половиной,  
 на третьей палубе корабля.  
 На мужской (восточной) — отец и трое сыновей,  
 на женской (западной) — их жёны.  
 Восемь.  
 Адам — девятый, между ними.  
 Череп его перекачивается, кости скользят.  
 Две тьмы, две бездны.  
 Где верхняя из них?  
 Ковчег в ладонях пыли водяной.  
 И трупы по волнам плывут —  
 весь мир плывет,  
 как детский уголок,  
 но ничего не видно, темень.  
 Лишь книга светится.  
 Та книга, которую Адаму ангел дал,  
 в ней всё, что было и что будет.  
 Но светится, и не прочесть.  
 Она — фонарь в руках отца, и времени отсчет.  
 Отец, три сына, книга.  
 А женщины — во тьме.  
 Восток и Запад. И Адам меж ними. Череп  
 играет в кости.  
 На третьей палубе.  
 Под ними — птицы, на второй.  
 Всё небо птиц. Два зяблика,  
 два снегиря, чета стервятников,  
 фламинго пара. Молчат.  
 Крылатая живая тьма.

В нее спускаются четыре женщины  
 и кормят эту тьму с руки.  
 И четверо мужчин  
 идут на первый ярус,  
 где все бескрылые томятся,  
 и кормят их. С руки.  
 Но чем? Одних — другими?  
 И восходят  
 в свои покои  
 по сторонам Адама:  
 четыре влево и четыре вправо.  
 И книга в изголовье Ноя  
 горит и пересчитывает спящих.  
 И год проходит хуторком  
 плывущего вдоль борта света,  
 и ворон, посланный за вестью,  
 не возвращается...

... .

Они не понимают, почему их двое,  
 почему здесь, на этой службе,  
 и почему они именно,  
 и где кончается эта оранжерея.  
 Через день работают,  
 передавая друг другу смену.  
 В шкафчике гардеробном —  
 два халата цвета сизой капусты  
 и калоши с подкладкой алой.  
 Вернее, один халат,  
 а рядом кивер и доломан с чечкирами.  
 Или сюртук, брюки и котелок.  
 Один —  
 с руками длинными, почти до земли,  
 раздевается,  
 другой — с бледным лицом  
 и островерхими ушами —  
 уходит.  
 На обоих  
 отсвет, что называется, неземной.  
 Но не лежит, а изнутри выжжен —  
 не по-отцовски грубо.  
 Мачеха-красота  
 светится в них спасеньем.  
 Не беседуют,  
 просто кивают,  
 передавая журнал, лейку.  
 А может, и говорят, кто ж это скажет.  
 Америка  
 крахмалоносная,  
 процессуальный К.,  
 Тамара  
 пустоцветная, многолетняя.

Дух вьюнковый.  
 Беджики на халатах: «Франц», «Михаил»,  
 но они ничего не значат.  
 За окном — герника  
 обыкновенная.  
 Там, видно, тоже трудятся.  
 Небо — ковриком у двери.  
 Тоненькая дворовая  
 Беатриче  
 пробивается сквозь асфальт.

...

Если взглянуть на мир как на текст,  
различимы две записи: ранняя, безупречная,  
и крайне неровная, поздняя, неоконченная,  
похожая на набросок, и будто другой рукой.  
Или той же, но что-то упущено —  
чувство ли, слово ли, чувство меры...  
Странный, парадоксальный ход:  
одновременно — прорыв и прорва.  
Можно, наверное, было вписать его мягче —  
этого человека — где-то на третьем плане,  
не нарушая целого и единого.  
Нет, возвращается и дописывает  
именно так: отрывисто,  
между строк,  
расплывающихся,  
исчезающих  
навсегда.

...

Да, говорят, склонившись над ним, подвисает,  
картинка мира в его глазах слегка запаздывает,  
а в остальном — почти соответствует описанию  
в сопроводительной на всех языках: пасынок  
благих намерений. Движимый речью. Глина  
и дуновенье. Видимо, между ними где-то  
и подвисает. Да, говорят, во имя отца и сына.  
Жизнь, как часы песочные — света того и этого.

...

Тесла стоит в зигзицах,  
как святой Себастьян.

Маленькие, человечьи  
лица —  
здесь, там —  
прикрыть бы, да нечем.

Авраам  
с зарезанным сыном домой вернулся.  
На нем и храм.

Пятки в Мекке, в сердце — Бенарес,  
а глаза — Таруса.

Dolce —  
über alles.

Девочки — на вес,  
мальчики — на сантиметры.

Снег сплывает с небес,  
как титры.

...

Будда сидел под деревом,  
думал о Сталинградской битве.  
Если мир колесо — может, не все потеряно.  
Главное, чтобы дороги не было.

И природа ему кивала.  
Как одуванчики, пролетали талибы,  
крестилась река стрекозами,  
а за ней цвели магдалины.

Христос лежал на лугу, руки раскинуты,  
верней, разбросаны:  
одна, например, пасется в Африке,  
другая — лечится в Косово.

Но в целом, лежал и думал:  
всё хорошо, не хуже ведь,  
чем Иегове в Калуге  
или Шиве в Ужгороде.

Все мы тут отбывающие наказание —  
и звездочка и полумесяц, и колесо и крест...  
Главное, чтобы дороги не было.  
Максимум — до Казани.



...

Девочка с персиками лежит в гробу у Врубеля –  
Тамарой.

Бе-ба, — заглядывает дурачок в избу, где Чехов  
сидит у свечи, пишет дорогу на Сахалин.

Звенит комарик. Серов наклоняется завязать шнурок  
и падает в смерть. Комарик

звенит, демон. С хоботком,  
вонзенным в себя. Люби меня, говорит, Миша.

Врубель с Микеланджело гуляют по Киеву,  
больничный дворик, решетки, X век.

Голову Сергия Радонежского, завернутую в газеты,  
возят в чемодане по всей стране, скрываясь от НКВД.

Ме-ма, — дундит дурачок, и выходит в сени.  
Бе-ба, — повторяет Чехов, задув свечу.

...

В 1912 году  
Рене Карл Вильгельм Иоганн Йозеф Мария Рильке  
по приглашению княгини  
Марии фон Турн-унд-Таксис Гогенлоэ  
приезжает в ее Дуинский замок под Триестом  
и начинает Элегии.

Примерно в это же время  
Джеймс Августин Алоизиус Джойс,  
живя в Триесте, дописывает Портрет художника  
и, прогуливаясь со своим другом и учеником —  
Итало Звево, будущим прототипом Леопольда Блума,  
задумывает Улисс.

Оба смотрят в один морской горизонт.  
Ни до, ни после за всю свою 2-тысячелетнюю историю  
этот греко-римско-австро-венгерско-славянский город  
не отмечен ничьим присутствием,  
кроме этих двоих.

...

Последний китайский император Пу И пересажен с ночного горшка на опустевший трон. Даль лежит на боку, курит опиум. Соловьи непробудны еще в ложеснах его будущих жен, бестелесны наложницы, словно пролитый свет. Тени-евнухи, иероглифы — тысяча и один, и у каждого в тайной шкатулке — то, чего нет, и течет Луна у кормилицы из груди. Император в Запретном Городе заточен: золотая клетка зачехлена, вот и вся его Поднебесная. Не киношный сверчок Бертолуччи из его мелодрамы, а на сносях рая испеченный в преисподней. Странно, что в этом фильме ни слова о лагерях под Хабаровском, где якобы заживал, как рана под корочкой, уже трижды развеяв прах свой — в Пекине, Токио и Манчжурии. Письма писал Сталину, чтоб в Китай не возвращал его. И посменно дежурили десять тысяч лет в нем. Лети, летай, — отворялось окно, — и летал, летел, по пути перехваченный, и опять писал, в коммунисты просил принять. Называли Егором. А от Пу И все что осталось — кабинет министров в соседней камере. Вскрыл потайное дно чемоданов, передал сокровища на попеченье советской власти. В ответ получил письмо с благодарностью и собрание сочинений Карла Маркса. В качестве поощренья перевели в другой лагерь — с березками и рекой. Повариха Оксана, рыбой пахнущая и сиренью, входила в воду, поманивая его рукой: иди ко мне, доходяга. И пока он к ней шел,

не сходя с места, за спиной его двое слуг закопали остатки сокровищ под деревом. Бережок, огороженный проволокой, с видом на юг. А потом, когда его отыграли на все лады и стал он уже как Пу И не нужен, его подарили Мао — просто от доброты и в знак советско-китайской дружбы. И ушел он еще на десять, но уже в лагеря Китая, последний император династии цин. В кедах, ватнике и круглых очечках. Питание как питание: плюс минус рис. Не сцы, говорит ему, в центр ведра — не буди товарищей. Это по Бертолуччи. Наставник ему, вертухай говорит. Небо — соломинкой утопающего, за нее и держится, выплывая уже в Китай марширующих хунвейбинов. Почти старик, неприметный, с другим именем, на работу устраивается садовником. Лицевой тик — если долго смотреть — у памяти, у цветов... Годы, как евнухи те, хранят в шкатулках то, чего нет. Он и сам — садовник в шкатулке Запретного своего Города. Лежит в земле, и как пролитый свет — с ним вторая жена, кости играют в го. А те остатки сокровищ, закопанные у реки, всплывают в Киеве, полвека спустя, на останках другой империи, в частной коллекции. Пу и, пу и, — перешептываясь в сейфе Национального банка.

...

Семь белошвеек сингапурских шьют женскую одежду. Зала просторна. Сквозь витрину прохожие глядят с улыбкой, как те примеривают платья, смеются, губы красят, ткани разматывают, метят и кроют, меж тем вступая в отношения воздушные со взглядами исчезнувших, но длящихся мужчин. И вот приходит день: их шестеро, одна — не здесь, лежит под лампой, на столе, над нею — в масках четверо склонились. На спине лежит. И спит и видит. Ноги в коленях согнуты, прижаты к животу. Разметка, выкройка, зажим, вначале смуглый пенис отсечен, а затем мошонка, но перед тем как выбросить в бачок, снимают кожу с них, чтобы подкладку выстелить во глубь надреза, путь и губы в беспамятстве рождаются, кровят, и переход двоится. Она спала. Она проснется в мир — любимую и равной себе. Как женщина. Жених под окнами уже. Господь с бачком — свидетель на свадьбе. Белошвейки, как нитку закусив, глядят на них и ждут свой день.

...

Шеф-повар Пенг Фан из провинции Гуандонг приступил к приготовлению особого супа: отсеченная голова индонезийской кобры глядела как он ловко шинкует ее оголенное тело с содранной кожей, в которой жил еще легонький ток, и, кривясь разинутым ртом, входила в ступор. Уважаемая семья, заказавшая этот деликатес, сидела за крайним столиком у окна, в котором отражались пламя свечи и лес; переходя ко вторым закускам, они говорили о феномене плюющей кобры: как же она плевком в глаза попадает жертве с расстояния 2-3 метров? И поясняли внучке: это две струйки такие, как у клоунов на арене, помнишь, когда они плачут? Только она это делает ртом. Но интересно вот что, возвращаясь к димсам: едва ли она различает глаза у жертвы — дело в том, что зрение у них не ахти. Ставились опыты на манекене: она плевала в глаза, нарисованные на животе. Муза поваром водит, суп на славу, он моет разделочный стол, напевая милое из Ши цзин, он ведь в седьмом колене мастер, берет ее голову, чтобы бросить в мусор. Музыка, говорит, это люй-люй, 12-ступенный укол пяти стихий... И вскрикивает: голова кусает его, он ее стряхнуть пытается, как детскую варежку на резинке. Семья переходит к «столетнему яйцу» — последней закуске. За соседним столом играют в го и доедают палочками что-то похожее на опарышей... и на повара — бледен стоит в проеме, руку к лицу подносит и валится, губы в пене. На том свете они срастаются в единое тело — вся труппа: повар, змея, семья и немотивированные соседи. Государство, говорит Конфуций, — искусство супа.

...

Человек-окно в ожидании двойной жены.  
 Стекло подмораживает, узор на охоте.  
 Гравитация играет в «мертвые против живых».  
 Ботинок надевает Ван Гога и уходит.  
 Кириллица ищет отца и не может найти.  
 Нет Мефодия. Нет Мефодия.  
 Тропка. Плата. Теремок Ай Ти:  
 отец на выходе, мать на входе.  
 Зима, тела нет, только волчий хвост.  
 Любовь подергивается ледком.  
 Свет коротенький, low-cost,  
 человек точка ком

...

Божия коровка, улети, улети,  
 там твои детки, меж исподним крылом  
 и верхним — два вакуума. Триедин  
 мир твоего полета; оверлок  
 воздуха; две детки, две алмазные сутры  
 обметывают его: форма есть пустота,  
 пустота есть форма, и полет твой — сурдо-  
 перевод меж ними. Я с листа  
 читал тебя: «улети, улети,  
 человек», пока мешкала и какой-то петит  
 подъедала ты, типа «я люблю  
 тебя», смахивающий на тлю.  
 Кто ж ты есть, обожженка, крапчатая купинка,  
 солнышко левое, одомашненное  
 и грехом и святостью, под одной косынкой —  
 и зевесова женка, и богомашенька.  
 По утрам ты читаешь Проппа,  
 пишешь письма из Турции в Запорожье,  
 ты у немцев — овечка божья,  
 у французов — курочка. Индрагопа —  
 у индусов. Подымаешься вверх по пальцу,  
 распускаешься, как цветок-укол,  
 и летишь, семиточечница, скиталица-  
 семидневка. Не обсохнет облачко-молоко  
 на устах у неба. Но кто ж ты есть?  
 Все начала в тебе и концы, да, роднуля?  
 Хлеба белого, не горелого даждь нам днесь,  
 а нет — и не надо, лети, женщина, аллилуйя!

...

Чем более человек самостоятелен,  
 тем более одинок;  
 чем более одинок,  
 тем менее самостоятелен.  
 Важно, кто говорит. Одно дело — Франц,  
 например, Йозеф. Другое — Кафка.  
 Неоконченный травелог Создателя:  
 мир, состоящий из двух-трех фраз  
 и бесконечной правки.  
 В жизнь лицом — как в цветы полевые  
 помолчи.  
 Пусть молчанье тебя передаст  
 в ничего не случилось.  
 Только взгляд отведённый уже не унять.  
 Как подросток — врасплох, впервые,  
 обнаженную видит мать.

...

Смотри, вон птичка  
 перепорхнула. Ад  
 никуда не девается.  
 Ни от сближенья  
 далековатых понятий,  
 ни от их разобщенья.  
 Где твой брат,  
 Авель? См. в личке.  
 Кафку смущали метафоры.  
 Переставлять кровати  
 под землей.  
 Как эпитафия  
 перепорхнул козодой.  
 Любовь, говорит, движет.  
 Любовь к ближнему.  
 Страшная, как освенцим.  
 Давай, говорит, помогу  
 донести до дому ношу твою,  
 говорит мальчик-ум  
 бабушке-сердцу.  
 Птичка веточку, как чеку,  
 в клюве держит.  
 Сжат  
 ее кулачок нежный.  
 Адское пенье.  
 у райских врат.  
 Даже если и вытесняется,  
 ничего не меняется  
 от перемены мест.  
 Ни покаяния, ни искупленья.  
 Крест как крест.

...

Не волнуйся. Полребенка, войны немного  
закопал он, еще вернется — ни наш, ни ваш.  
Геноцид памяти, а как по-другому? Иначе  
земля не шевелится. Встань на свою треногу  
и иди. Иль в окошко любуйся: русский пейзаж  
на закате в шинельке сидит, как Башмачкин.

Что тебе до причин? Почему в темноте рябиной  
догорала она в человеческой коже, почему в огне  
ты был с нею, как первый снег? Падал, что ли?  
Птицы всё подберут. Здесь лишь камни невинны.  
И не будет ни слова, ни чуда. И тело с душою,  
как Иосиф с Марией, спят спиною к спине.

...

Ах как на солнце смерть играет  
и натирается о жизнь —  
как пес о падаль.

И где-то с краю  
ложатся годы.

И осень темная стоит  
сквозным окладом  
без иконы.

...

Утлые куклы спускаются в ад,  
 медитативно развинчивая друг друга:  
 ухо, улыбка, спина, живот,  
 глаз — он еще видит прощальную руку  
 светлых и восходящих — устных  
 и письменных, глаз-визажист.  
 Вокруг каждой матери вращается пупсик,  
 в некоторых — теплится жизнь.  
 Не близнецы, да и в общем — не лица,  
 тихо внутри у них, пусто и чисто,  
 чувства меж ними как ласточки вьются,  
 хоть и не часто, в небе без неба,  
 кто бы ты ни был, огня без огня,  
 что они ищут, куклы скольженья,  
 плачут, как вещи, жалят и женят,  
 жалят и женят меня без меня

...

Гиены — лучшие из мам.  
 Детоубийству это не мешает.  
 Но и без мамы там,  
 в норе,  
 когда рождаются две девочки,  
 одна другую убивает,  
 и голос подает, незрячая:  
 оле-оле...

Оттеночки. Attached.

Матриархат. И королева.  
 И фрейлины с дуоденальным пенисом,  
 как у самцов. Ах, это клитор! Нево-  
 образимо — оказалось для ученых.  
 Особенно, когда увидели,  
 как сквозь него рожают, корчатся, и черной  
 розой рану волокут.  
 И зрители  
 хохочут леденяще.

Оттеночки. И тут.  
 Але ж немає краще.

Нет лучших мам,  
 и женщин лучше нет.  
 Мужчины, приседая в танце,  
 гнут шеи, изнывая, чтоб отжаться.  
 Она берет избранника, и там,  
 где был он, сестры поутру зализывают след.

... .

Маленький такой предмет...  
 Хотя — как сказать, откуда смотреть.  
 Внутри — слепое пятно,  
 а выпростав взгляд за смерть —  
 никаких примет.  
 Может, это не он, не оно.  
 Лежит себе и лежит,  
 бог знает, где и как,  
 маленький... Греются, как ужи,  
 на солнце — язык, рука,  
 и что-то там происходит —  
 вроде фиалки метафизической  
 или окна, блуждающего в человеке,  
 или темной материи, женившейся на природе  
 как Исаак на трехлетней Ревекке.  
 Вот он весь, на руках у бездны-няни,  
 маленький такой, лучистый,  
 с выпадающими, как систолы,  
 то ли ангелами, то ли днями.

... .

Нильгау, единорог, дымчатый великан,  
 тело его плывет сквозь джунгли,  
 перебирая под собой евангелистами,  
 оставляя следы двуперстий.

Он несет себя как сосуд,  
 как меха на просвет с голубым вином,  
 его шея почти исчезает в небе —  
 там, где маленькая голова ибн сини  
 оборачивается из семи времен:  
 сумерки рая в глазах,  
 и в горло воткнутый полумесяц.

Он плывет меж сновидческими деревьями,  
 он целует их мочки ушные в сережках,  
 вглядываясь с исподу в рукописи листвы,  
 смешивая языки —  
 алые буквицы Рамаяны с зарослями Авесты.

Его маленькие женщины  
 в бежевых сорочках  
 держатся на виду, но поодаль,  
 обмахиваясь веером тревожного света.  
 Он чувствует их спиной,  
 они восходят по хребту  
 и гаснут на губах.

А когда встречаются двое,  
 они становятся на колени  
 и мерно чокаются лбами,  
 беседуя о девственницах.

А те стоят поодаль, слушают,  
 как будто речь о них.



...

Калахари. Озеро под пустыней,  
 в небе его воды мог бы и самолет кружить.  
 Ни глубина, ни возраст этой воды неведомы.  
 Нет никого там, кроме незрячих рыб золотых.  
 Ждут. Иногда что-то падает вниз  
 из горнего мира, светлого, мертвого —  
 этим они живут, прирастая  
 солнечной пылью и слепотой.  
 Наверху — но не есть, а бывает —  
 река. Но река ли? — короче себя —  
 как волна пробегает по телу.  
 И колесико-паучок  
 скатывается по бархану,  
 под которым – незрячее озеро жизни,  
 и рыбка за амальгамой плывет золотая.

...

Смотрю в экран, а там слепой —  
 худенький, узкоплечий,  
 с немного женственным легким лицом,  
 седыми волосами «под мальчика»  
 и беззащитно чуткими ладонями.  
 Ему 82 года. Аккуратно одетый  
 в то, о чем здесь давно забыли —  
 в скромность и милость,  
 в тихую безоружную смелость,  
 в какую-то детскую доверчивость  
 к собеседнику, к жизни и смерти,  
 и как-то, наверно, связанное с этим  
 застенчивое достоинство.  
 Он сидит в своей комнате,  
 Вот, говорит, там — Пушкин,  
 и указывает рукой на стену.  
 Что Вы спросили, простите?  
 Нет, самое страшное — это яма.  
 Не столб, я его чувствую,  
 когда приближаюсь, а вот яму —  
 нет. Ну что Вы! Слепота — не беда,  
 по сравнению с отсутствием рук, например, —  
 вот где истинный ужас:  
 даже пуговицу не расстегнуть!  
 Что, простите?  
 Вовсе не чернота. Что есть — «черное»?  
 Понимаете?  
 Я так люблю по зимнему лесу бродить,  
 там я каждое дерево знаю,  
 и как растет оно, и куда.  
 Это нескромно, конечно, но...  
 я счастлив.  
 И когда танцевал с дамами,

у меня их было немало, да,  
и мазурку и падеграс...  
Они все красивые были, я ж это вижу.  
Если бы, говорите? Даже не знаю.  
Ну вот снег, его цвет, когда он летит,  
и вот эти оттенки  
между снегом летящим и воздухом,  
эти зазоры и переходы...  
Вот это, наверно,  
я хотел бы увидеть в первый миг,  
если б, как Вы говорите, «прозрел».

Я смотрю в этот тихий экран  
и не слышу, конечно.  
Руки, да, вот что важно,  
это правильно он говорит,  
а она переводит на пальцах.  
И снег.  
Три неполных мне было тогда,  
незаметно я вышел из дома —  
по снегу пройтись босиком.  
Вот и всё. Осложнение. Руки  
и снег. Да, всё так. Мой отец —  
капитан корабля. И я тоже мечтал,  
но сказал он, что я не услышу  
сигнала тревоги.  
Стал актером. Нас вся труппа таких.  
Если руку приложишь к роялю,  
можно чувствовать — нет, не звук,  
но характер его и движенье.  
И когда я хочу вдруг услышать  
голос мамы или отца,  
я вот так же могу приложить  
к их горлу ладонь.  
Нет, совсем не обидно.

Он прав, лишь нюансы и обертоны —  
не звук и не голос,  
а эти следы, превращения звука —  
вот был он одним, и уже он другой.  
Вот это, наверно,  
первым хотел бы услышать.  
У снега. У мамы. У волн.

...

Горе тихонько смеялось,  
напялив тебя как куклу,  
кланяясь тобой туда-сюда,  
прислушивалось: не сломалось  
ли что, поглядывало в тот угол,  
где радость, казалось, еще жива,  
зализывая себя, пока в одну точку  
не уставилась, холодея.  
Там они и сойдутся. Как в дочки-  
матери играющая Медея.

...

Проще пиши, говорит роща,  
веточки — по Шекспиру.  
Так, чтобы я поверил,  
говорит дождевой сырый  
червячок Алигьери.

Почерк твой неразборчив,  
шепчет в глаза осень  
влажных от света строчек,  
будто она из писем  
тех, что уже не пишут.  
Некому, да и нечем.

Трогай меня тише,  
легче, бесчеловечней.

Что же тебя так водит  
сверху, с краев и снизу  
одновременно. Видит,  
то есть теряет смысл.

Шатким, но без нажима,  
богом пиши, словом.  
Просто пиши, пиши нам,  
дядя всего живого.

Ты ведь один в природе  
письменный среди устных.

Ни для чего ради —  
домик, окно, чувство.

Легче, как будто вышла  
жизнь, ну а те — далече.

Трогает — выше, тише,  
легче тебя, легче...

...

Бегут, как живая тропа,  
с ломким шелестом крови сухой,  
сцепленные,  
как заржавленные крючки —  
женщины,  
длинноногие,  
с запрокинутыми головами,  
без глаз.  
Всем народом бегут.  
Всё, что мир им оставил —  
лишь запах  
и осязанье.  
Бегут. Рвут на части  
и давятся всем, что у них на пути.  
Столько их, сколько нас.  
Женщины многорукие,  
девочки, ломкие, как секунды.  
Видят его.  
Он лежит,  
огромен,  
поволя крыльями,  
цвета листьев запятнанных светом.  
Они окружают его, ликуя.  
Он — из тех, кто покинул их навсегда.  
Он источает запах,  
они чувствуют, как от него разит  
будущим.  
Виснут на нем,  
ломают крылья,  
лакомятся, возбуждены,  
и вспять бегут,  
над головой неся его,  
как дирижабль.

И в доме  
 перед ней кладут.  
 Она его во тьме перебирает  
 у ног своих поющими руками.  
 Как Голгофа,  
 она — темна снаружи.  
 А внутри — светла утробой.  
 И он восходит на нее,  
 и женщины шевелятся, как буквы  
 черновика у их подножья.  
 Она с ним сделает все то, что  
 им не дано —  
 их новый день.  
 И к выходу, на свет  
 сучатся письма,  
 как кровь сухая.

...

Иногда я вдруг останавливаюсь,  
 отвожу взгляд от книги  
 и пытаюсь представить...  
 Например, как ее автор в лесу  
 разводил бы огонь:  
 его движения, взгляд, пальцы,  
 как он ищет древесную ветошь,  
 как возводит ее на земле,  
 партитура зазоров, касаний,  
 как живет предстоящее,  
 как он трогает память,  
 и насколько она беспокоит его —  
 вон та ветка, торчащая в сторону?  
 Как он входит в огонь —  
 как в любовь, или в дом,  
 или как снаряжают мертвых?  
 Как растит он его, и насколько  
 огонь его видит?  
 Не о технике речь, не об опыте,  
 а о чувстве единого, такте  
 меж ветошью, воздухом, светом,  
 теплом и рукой. Для начала.  
 И взгляд отвожу, возвращаясь  
 и ошибаясь рукой и теплом,  
 пока привыкают глаза.

...

Корабль тонет у берегов Мальты,  
спасается лишь один — узник,  
тот, кто против рожна шел.  
А был мальчик  
тринадцатилетний,  
когда этот бог умер.  
Мальчик он был, иудей из Тарса.  
Но и эллин сказать мог: наш он.  
Сын Торы и гражданин Рима.  
Девственник, страстный  
книжник и фарисей,  
книжник, швец палаток для жизни на колесе.  
Жил, вырослел, в городах и весях  
изгонял христиан, как бесов.  
И однажды, когда к Дамаску  
шел, увидел он свет отвесный.  
«Что ж ты гонишь меня?» — был с неба  
голос тихий. Лицо, как маска,  
чуть сместилось, упал, ослеп он,  
и лежал, спеленатый в этот саван  
света, а когда восстал и глаза отверзлись —  
был уже он совсем не Савл.  
Годы шли, распускался узел  
жизни в вербное воскресенье,  
и корабль плыл, но теперь он узник  
той надежды, любви и веры,  
гнал которых как бесов, они обвиться  
всё норовили... Корабль тонет,  
один он спасся. Мальтийский берег  
пустынный, морось, к костру садится,  
ладони греет, заводит руку  
во тьму, чтоб хворост  
подбросить, и вынимает ее, обвитой

степной гадюкой.  
И рыбаки с опаской и деловито  
глядят, как стряхивает ее он молча  
в пламя. Ждут, когда ж корчи  
его начнутся. Но озарен, пятится  
тьма. Остров. Амен.  
Но что-то над ним светится —  
как апостроф.  
Павел.

...

Он обходит сад, на ремне у него ключи,  
на плече петух — то огнем взъерошен,  
то трепещет, играя знамя.  
Слева — пень райское, а правей — звучит:  
«Знаешь ты этого человека, сыном божьим  
называющего себя?» — «Нет, не знаю», —  
отвечает из тьмы его же  
голос. И трижды так. И вослед, уже за крестом  
опустевшим: «Пётр, любишь ли ты меня?  
Любишь? Иди на голос», —  
и ключи дает от небесных кущей.  
Я простой рыбак, невелик умом,  
хром душой и не тверд в ногах, оказалось.  
Что ж ты, Господи, на таком  
шатком камне возводишь храм —  
пылком, да, на твоём, но таком пропащем.  
Я и там с тобой, по волнам,  
в след ступил твой, уйдя по пояс,  
а когда ты, помнишь, ноги хотел омыть мне,  
я отринул тебя, отпрянул, и тут же: Боже,  
да хоть с головы до пят меня вымой! То есть  
каждый шаг твой во мне событьем  
отзывался прежде, чем я понимал, похоже.  
И когда из темницы бежал я, и голос твой  
преградил мне путь и вернул мне его — избыть,  
и когда, не достоин тебя, просил  
их распять меня головой  
вниз. И смотреть на мир, где хватило сил  
так любить тебя, и предать, и уже не смыть  
этот грех. Как при жизни ребенком меня носил  
перевернутым...  
Круг за кругом обходит рай.  
То ли нимб на нем, то ль блуждающая оправа

двуголосья: «Ты — первый, мой...»  
и другой: «Передай, предай...».  
И в святых глазах его свет спитой,  
и конца нет ни пенью слева, ни бездне справа.

...

Так и зовут их обоих: Кириловка —  
и церковь, и странноприимный дом,  
лицом к лицу стоят на холме одном.  
Двенадцать санитаров, ведомых голубем,  
ходят в скафандрах из огня да в полымя —  
со стены, где писаны, да в застенки. Трубы ли  
гибкие — от скафандров к голубю? Врубелю  
он на грудь садится, санитары поют, лечат,  
а потом задувают его и себя, как свечи,  
и возвращаются в церковь, где он их пишет.  
Голубь то в сердце его, то в смерти — дышит,  
где хочет. Даже там, в могиле, где с пальчиком  
поднятым сын лежит, маленький, с заячьей...  
Даже там, где любовь — пьета. Даже там,  
где всё кончено и не начато. Стыд и храм.  
Демон кружит над тем холмом, не воротится,  
да и некуда: губы детские, а глаза — богородицы.

...

Чем речь томится? Тем,  
чтоб разделенной быть  
и приумноженной —  
как жизнь?  
Но есть другое в ней:  
она играет,  
как свет в воде,  
в тебя,  
а мысль одна —  
бежать, бежать, бежать...  
Но как преодолеть  
ее приговоренность?  
И горизонты  
сменяются по сторонам,  
как вертухаи.



...

Как же оно работает, это внутреннее пространство,  
когда центры тяжести так разбросаны,  
перестраиваясь без твоего ведома,  
просто кто-то идет по следу твоей памяти, воображенья,  
и перестраивает, подхватывая на ходу,  
спасая от обрушений.

А потом приходят отец с матерью —  
в одном лице без лица —  
и собирают эти разбросанные игрушки:  
спи, ребенок, расти в другое.

Но этот «кто-то» еще идет за тобой по следу  
вспять.

...

Куда ни глянь — всё кончено:  
ребенок, дерево, душа...  
И крыса мечется, визжа  
без звука. Как любовь.

И кто-то вдоль обочины  
идет, свою улыбку ловит  
сачком в траве. На лоне,  
якобы. Слепой, как счастье.

...

Трудный день, неизъяснимое снилось ему, муравью.  
Если бы он назвать это мог, он бы сказал: люди,  
смерть, бог, анатомия, корабли, города, книги... Лев  
толстой, например. Но этих слов он не понимал,  
и всё стоял, как в ступоре, глядя на торопливо снующих  
своих соплеменников. Лес просыпался. Лапа подрагивала.  
Или «любовь», например. Один на тропе, смотрит  
в небо, поскрипывает забралом, и поделиться не с кем.

...

Мысль о дороге лежала, раздвинув ноги,  
солнце над ней висело в своем самадхи.  
Жизнь — как расходящийся шов: наги  
нитей танцуют. На голове мешок  
неба. Свет шаткий с дудочкою наитья  
шел. Мир как мир — имитировал схватки.  
Я отмеряло себя неумных семь  
дней, и за один отрезало. От лица.  
Шестипалое чувство нашло семью.  
Лучше бы не свою. Осень во всей красе,  
как покойница, переписывается.  
Камень в Петра играет — один в раю.

...

«Оплодотворители были. Силы растяжения были.  
Порыв внизу. Удовлетворение наверху. Откуда  
возникло это творенье: может, само себя создало,  
может, нет. Лишь тот, кто в небе над миром, знает.  
А может, не знает и он?» — говорит Ригведа.  
Нет сюжета у жизни, полный стаканчик света  
с миром, напаянным на него для шитья-бытья.  
Просто какой-то порыв снизу. Встречный ли?  
Как сообщения неотвеченные —  
люди, снега, порывы, божья галиматья...  
Силы растяжения тебя во мне  
провоцируют нас на сжатие. Чтоб сошлись.  
Мы и сходимся. Может быть. В стороне  
от нас. И на это уходит жизнь.

...

Не к утру, но уже в обозримые времена,  
на земле останутся двое — он и она.  
И не то чтобы не любовь, но — проём.  
Не совсем его она, да и он — не ее.  
Местность хрупкая, как стекло.  
Что ж так тихо здесь и светло?  
Что ж влечет их друг к другу так  
словно дело не в том, не там,  
что зияет меж ними, и что одни,  
что исчезли из мира слова и дни,  
и не помнит ладонь своего тепла,  
и не линия губ — deadline,  
только что это значит? И чья вина?  
Взял на руки ее, а она — вода  
в решете. А обнимет его, и он —  
словно глина плывет. Как сон,  
ускользающий на свету,  
друг для друга они. В роду  
нет у них ни людей, ни птиц,  
ни цветов. Может, даже лиц  
нет у них. Но не им двоим  
это знать. И стоит, как дым,  
бело-деревце, красный глаз.  
Впрочем, было все это, и не раз.

...

Хорошо плохо слепленный человек  
с устойчивой несовместимостью с самим собой,  
был бы я безударным слогом, говорит,  
только слово это уже не вспомнить.

Может быть, у цветов — свой Христос,  
облетевший как одуванчик. Пух и прах  
перелетного воскресенья. Евангелист пророс —  
Иван-да-Марья. Свой у моли Яхве, свой у мух Аллах.

Думая, что мы уже начались,  
и срослись в одно, и разбросаны по мирам,  
и теперь не быть и любить тебя, и беречь, но как  
это вместе свести, если мы с тобой — как рука  
левая, если жизнь — правая, и не ведаем, что.

Если там между ними — ни тьма, ни свет.  
Если тоненько так начинают петь брошенные тела.  
Если мимо нас, проходя сквозь смерть,  
говорят они: может, были б мы,  
если б она была.

...

Все потихонечку сойдут с ума  
на кровушку, на черную, на нет,  
и наконец останется сама  
с собой природа, и вздохнет,

и улыбнется — этот день  
она ждала от сотворенья,  
и чуть пригубит за людей,  
не чокаясь, два-три мгновенья

пригубит. И проветрит дом  
от неземного выпренного смрада  
их дел волшебных, чувств, и дум,  
и перепрячет деревце из сада.

...

Начинаешь себя забывать,  
заканчиваешь, вернее.  
Света легкая прядь  
у обочины слов.  
Или чувство такое — вермеер...  
Или просто весло,  
плывущее по реке  
вспять. Но зачем?  
Лес стоит в парике —  
значит, осень. Рука на плече —  
может, мать.  
Только воздух прозрачен,  
чтобы видеть, наверно,  
и не понимать.  
Разбрелись  
и уже не вернуться  
слова.  
Что меж ними?  
Чего ни коснуться —  
щемя такая, тщета, нелюбовь.  
И в ладонях твоя голова  
чуть дрожит, как цветок полевой.

...

Пойдем, моя девочка, моя мать и мачеха,  
помолчим, побродим, как люди некие,  
в тех краях, где живут башмачкины  
полевые в припыленных шинельках,  
где кульбаба с пижмою говорят, мол, с утра  
кашка ларина вышла замуж, и с онегинным  
мелкоцветным не по-летнему холодна,  
где люцерны книжные в лютиках обрусели,  
где трехлистные карамазовы с папенькой на одре  
каменистом, и сурепка масляного воскресенья,  
и один меж мирами плывет андрей.

...

Двенадцать душ нас было,  
считая с маленькими, нераскрытыми.  
Он подошел и долго стоял с ножом,  
разглядывая, трогая, выбирая.  
И срезал меня.  
То, что они называют «душа»,  
осталось во мне. Но и на месте среза —  
тоже. Он приблизил меня к лицу  
и глубоко вдохнул,  
но глаза при этом стали незрячи.  
Да, так бывает при вдохе  
внимательном и отрешенном.  
А потом он отнес меня в комнату,  
состриг мои колкости, обороны  
лишил (капля крови на пальце)  
и завернул в мертвое, шелестящее,  
вышел. Я видела город,  
и это было похоже на сон  
после смерти: плыли, как титры,  
люди, туннели, деревья, дома.  
Я ладонь его чувствовала —  
он старался держать меня нежно —  
там, внизу, но порой забывался.  
А потом — дверь открылась  
и я перешла в другую ладонь —  
маленькую невесомую,  
и все покачивалась вниз головой,  
пока эти двое так долго стояли,  
прильнув друг к другу щекой,  
как я когда-то.  
А потом я стояла в воде по грудь,  
на столике у кровати,  
и пила, пила,

и они всё любили, пили друг друга,  
и запахи наши смешивались  
и не смешивались,  
а потом она пела под ним, как плачут,  
шепотом и почти без слов,  
и такие же на плече у него царапины,  
как от меня. А потом, наутро,  
ушел. А она все ходила по комнате —  
туда, сюда, останавливалась  
рядом со мной, смотрела,  
но тем же взглядом невидящим,  
как на вдохе. И убывала  
внутри себя, вниз убывала,  
пила, пила... Воду меняла мне,  
отходила к окну:  
там на доньшке, как и здесь.  
А потом вынула и сложила вдвое,  
но это уже я не очень чувствовала —  
скорее, руки ее, чем себя. Руки,  
ставшие вдруг тяжелыми, горькими,  
так ей не подходящими.  
Узелок завязала, вынесла с мусором,  
я живая была еще — там, во тьме,  
где не смерть страшна, а вот эти  
локти со всех сторон и запах.  
А потом было поле и горы тленья.  
И последнее — промельк солнца,  
маленького, как укол. Верней,  
не солнца — того, что движет...

. . .

Он думает, что я — его глаза.  
 В расхожем смысле так и есть.  
 Мы все тут пчелы — я, ладони,  
 слух, подошвы, а пасечник —  
 за ширмой, в голове. Он думает,  
 что мною видит. Так и есть.  
 Но это далеко не все, что вижу я.  
 И далеко не так. Во сне, порой,  
 меж нами это поле оживает, но  
 не перейти его: нет третьего —  
 поводыря. Когда бы жизнь его  
 и память была равна моей,  
 наверное, мы были ближе к богу.  
 Он видит только то, в чем отражен,  
 но даже в этом так ничтожно видит,  
 и, как ребенок, руку тянет — взять,  
 роняя главное — что не берется.  
 Я помню всё, в чем он не отразился,  
 и всё, что он не взял. Я помню  
 тот поворот дороги, свет и голос,  
 чуть левей от взгляда... И судьба  
 могла б иною быть. Я помню  
 женщину, с которой он бы счастлив  
 был, одну на свете. Шли навстречу  
 они друг к другу столько жизней,  
 и вот, на расстоянии руки... И нет ее.  
 Я помню всё в ней. Я, не он. Похоже,  
 он что-то чувствует. Как я. И богу  
 не он предстанет — то, что между нами.

. . .

Пятиметровая мать  
 с проклятым лицом  
 скользит животом по праху.  
 Ни солнца в ней, ни тепла,  
 ни рук, ни ног.  
 Прелый сумрак и тишь.  
 Не лес — пренатальный погреб.  
 Едва из земли, растенья  
 тянутся, льнут друг к другу,  
 душат и рвут во тьме.  
 Свет — высоко в окне,  
 блуждающем меж ветвей.  
 Как сапог с отклеенною подошвой —  
 ее голова, а тело скользит незримо,  
 длинное голенище.  
 Она находит лоскут травы,  
 высвеченный лучом, и замирает,  
 наполняя себя всклянь  
 солнцем — почти до смерти,  
 и возвращается в землю,  
 и обвивает детские белые домики,  
 сжеживая им тепло, остывая.  
 А наутро снова скользит наружу,  
 ищет лоскут вчерашнего света  
 и, как оглобля, лежит, дымясь.  
 Так день за днем — без еды, воды,  
 одна, без любви, надежды.  
 Пока эти домики не дрогнут,  
 и она не увидит в проемах  
 мутные лица детей.  
 Она бы легко,  
 их проглотила,  
 но что-то ее удерживает,

отводит голову  
с чуть приоткрытым ртом.  
И потом еще годы  
с кривящейся клейкой улыбкой  
ползет, как из кожи,  
из материнства,  
из медленной солнечной комы его —  
животом по праху.

...

А потом мы начнем исчезать из виду.  
Мы, отклонившиеся от большинства.  
И не сказать, где и когда это случилось.  
Видимо, постепенное ослабление родства.  
А со временем и расхождение в облике.  
Это странное «мы» — ни окликнуть, ни встретить,  
И по свету рассеяны, и непарны,  
даже если вдвоем и в любви,  
как с тобой, исчезая друг в друге.



...

Баю-бай, внучка, на груди утеса,  
я тебе буду рассказывать, а ты засыпай,  
баю-бай, тучка, на груди УТОСа –  
было такое общество, не обращай  
внимания, это к слову. Спи, Россия  
на груди Берега Слоновой Кости,  
спи, снежок, спи, чудесное, невыразимое,  
и растленное речью — баю-бай. Гости  
съезжались в рай.

И давал он всем имена — имена смерти:  
дерево, воздух, глаз, любовь и т.п.  
Птичка свила гнездо. Шрути-смрити,  
чтоб поклевывать тути-фрути  
окружающего. Напевай: я в тебе —  
мова, мова...

Мол, такая нездешняя, и без крова  
была. А потом всё, к чему прикасалась,  
растило ее подкидышей «я не я», —  
ими-нами, этими именами и откликалась  
на любой оклик: «мама», «огонь», «колос»,  
а по имени-отчеству — дом бытия.  
Собственно, ветка и птичка — вот  
и всё, что от нас осталось,  
то есть мира. Птичка райская и ее помет.  
Спите, все времена и елки,  
и золотые шары,  
спи, родная, и бог, как иголка  
в этом сене волшебном, по имени «мы».

...

Память стелет соломку,  
но жиденькую, скользкую –  
под дорогу домой,  
под отражение в зеркале,  
под женщину — ту, с которой,  
под всё на свете,  
это неявное неузнаванье —  
такое, что, кажется, дальше некуда,  
но именно что неявное,  
чтоб не упал, но падал, падал  
и только в этом теперь и жил.

...

А теперь возьми меня последнюю,  
и первую меня возьми.  
Дай, говорит, я тебя раздену  
(любовь говорит слову).  
Всё у нас будет иначе.  
Помнишь, у Кафки, как они рылись  
друг в друге, эти ангелы собачьей возни.  
Забудь. Как люди.  
Возьми меня промежуточную,  
возьми между есть и нет.  
Дай, говорит свет, я тебя раздену,  
и лез на стены.  
А потом, как уточка,  
переворачивался  
лицом ко дну.  
Не волнуйся, она говорит окну,  
всё у нас будет иначе,  
главное, не оставляй меня приоткрытой.

...

По ту сторону слова,  
откуда не возвращаются,  
может быть, не безмолвие —  
что-то другое, но что?

Будто кто-то стоит у двери,  
не уходит, всё прощается...  
Такой родной ли?  
Ни слова, да и не дверь.

Что ж так тянется и скользит  
эта жизнь, как плащаница,  
проступая то домом вблизи,  
то землей вдалеке, то рекою,  
будто было в ней что-то  
другое...

...

Его биография, то есть история болезни...  
Нет, не о том. Что происходит  
с энергией при распаде цветка, лошади,  
человека, какие поёт она песни,  
чьим горлом? Вроде бы здесь, на броде,  
все в ней должно быть встревожено  
и наполнено необычайной силой  
для предстоящего превращенья,  
а не увяданьем, немощью. Не тобой  
она там поет с этим в спине осиновым  
колом жизни, этой щелью  
без губ — тоненькой, световой...

...

Зачем крутится ветер в овраге,  
и над водой горит челнок.  
Речь — не река, и не вахана.  
Не ты и не она. Проем порога.  
И ничего  
тут внятнее не скажешь.  
Глазами хама  
глядеть на голого себя — отца.  
А за спиной — медведь и Маша.  
Есть что-то в человеке, что никак  
в него не вписано.  
И это «что-то» трогает лицо,  
и человек при этом, как рука,  
которой трогают,  
и нет которой.  
И чувство — ближе близкого,  
что ты не весь, не здесь,  
и не читателя зовешь ты, не врача.  
Тиха, как смерть, река.  
Речь — горяча. Они сошлись.  
И жизнь —  
как птичья взвесь над пристанью.

...

Он стоит в пустоте с летящим в лицо светом  
и не чувствует, что он делает в нем, этот свет.  
Ему кажется, он разговаривает с женщиной.  
Свет в нее тоже вхож, но под углом, в спину,  
худенькую, голова чуть опущена, глаз не видно,  
шляпка с неширокой тульей и зеленой лентой.  
Кажется, он даже держит в ладонях ее ладонь.  
Третий свет камень трогает, перебирает листву,  
упирается в стену. Сосредоточивается в ловушках.  
Его дом — в восьми с половиной минутах отсюда,  
но уже достижим для него едва ли. Трогает губы  
говорящего человека, и незримо вступает в обмен  
превращений. Ему есть что обменивать. И на что.  
Тот, который в лицо летит, и тот, что в спину, —  
разные, с разным опытом, памятью, языком.  
Но и оба они — один. Как эти двое.  
В которых он себя находит  
всё меньше узнаваемым,  
пока сближаются  
их губы и тела  
и гаснет  
дом.

...

Значит, вот оно как происходит.  
Поначалу живешь ты с собой  
как с родным человеком,  
но не так чтобы близким.  
А потом — вроде близким,  
но уже не родным.  
И чем дальше — тем меньше  
находишь ты в нем человека.  
Да и просто — находишь.  
Он по-прежнему вроде бы рядом.  
Будто в комнате тихой соседней.  
Это было не трудно проверить,  
но зачем, как казалось, тревожить  
понапрасну друг друга. Не трудно  
это было недавно еще, и едва ли  
возможно уже.  
Значит, вот оно как. Потихоньку  
угасают с собой отношенья —  
не с кем быть им. Теперь вы одно.  
Можно долго смотреть  
в обе стороны.  
Что и делает это окно.

## Содержание

*Львовский Ст.*

Окончательная незавершённость как упование и надежда .....	5
Человек и другое. Опыты переходов.....	10
I. Не жизнь, а что-то-то рядом .....	17
II. За мостом .....	111
III. Проёмы .....	181